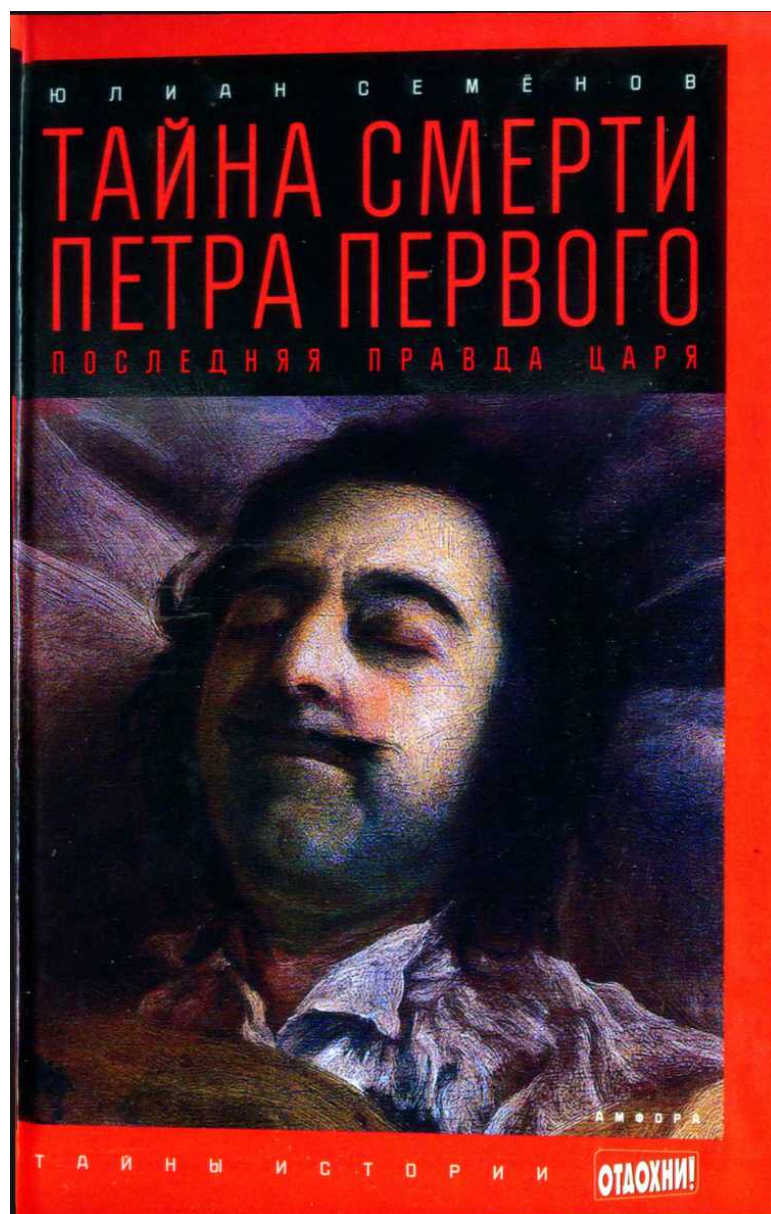


Юлиан Семёнович Семенов
Тайна смерти Петра Первого: Последняя правда царя



Юлиан Семенов. Тайна смерти Петра Первого
СПб: Амфора, 2014

Аннотация

Известный писатель и сценарист Юлиан Семёнов предлагает историческую версию смерти царя-преобразователя Петра Первого, основанную на архивных разысканиях.

12+ (Издание не рекомендуется детям младше 12 лет).

С приходом к власти Петра Первого мир изменился, Русская земля перестала быть окраиной. Было ли кому-то выгодно устранить с мировой арены царя-преобразователя, самого могучего политика XVIII столетия?

Известный писатель и сценарист Юлиан Семёнов предлагает историческую версию смерти первого российского императора, основанную на архивных разысканиях.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Сир!

Событие, кое привлекло внимание здешних иноземных наблюдателей при дворе русского императора, было конечно же заключение брачного договора между дочерью Петра шестнадцатилетней Анною и герцогом Голицинским, случившееся в ноябре сего, 1724, года.

Посланники, обмениваясь между собой суждениями, отмечали прежде всего то, что брак русской принцессы с голицинским герцогом есть весьма дерзкая политическая акция Петра, которой он родственно поддерживает того, кто, будучи сыном старшей сестры шведского короля Карла, вправе претендовать на скандинавский престол. Притом кое-кто трактует сей неслыханный дотоле в истории России брачный союз как попытку Петра выстроить надежный альянс со Швецией, в коем он весьма заинтересован, ибо знает, сколь много трудов прилагают Лондон и Париж, дабы оторвать Стокгольм от России, сделав саму идею дружественности между двумя государствами невозможною.

Мне, однако ж, сдается, что брак между Анною и герцогом Голицинским есть операция еще более глубокая и рискованная, чем о сем говорят ныне, ибо юный герцог никогда не скрывал своих притязаний на Ганновер, а ведь в Лондоне правит ганноверская ветвь, которая никогда с притязаниями юного герцога не согласится.

Отчего же Петр решился на столь смелый и рискованный шаг?

Осмелюсь, Ваше Высочество, выдвинуть на Ваш милостивый суд свой консенс.

Поскольку Петр действительно превыше всего радеет о благе России, свой интерес не блюдет, об персоне собственной не думает, хоть детей, Анну и Лисавет, любит нежно, то вполне можно предположить, что император сим шагом своим, весьма горестным для родительского сердца, решил оказать нажим и на Данию, которая по сю пору отказывается внять просьбе Петра и не взимать «зундскую пошлину» с российских торговых кораблей, идущих из Питербурху в Антверпен и Лондон, через Чундский пролив.

Подать, взимаемая датчанами, значительна и весомый урон наносит как престижу, так и казне России.

Петр, полагаю, предпринял лишь первый шаг в своей «Балтийской политике», а каков будет шаг последующий — предсказать трудно, но что он случится — зная государственный характер русского императора, — сумлеваться не приходится: вопрос лишь в сроке.

Остаюсь Вашего Высочества покорнейшим слугою.

Людвиг Хоорст

Декабря, третьего дня, года 1724-го

* * *

Генваря 1725 года, шестого дня

Я, доктор медицины Блументроост, провел очередное обследование здоровья августейшего пациента и нашел нижеследующее:

1. Обычные для осенне-зимней непогоды бронховые тяготы в этом году так же проявлялись через озноб и некоторое повышение температуры организма.

Однако же втирание горячего гусиного сала с тертым чесноком вдоль по спине и в верхние части груди — правую и левую — принесли желаемый эффект, озноб прошел, а температура понизилась до уровня, принятого почитать за нормальный.

2. Осеннее промывание олонекими и московскими минеральными водами пользы дало поболее, нежели чем лечение карлсбадскими источниками. Тем не менее августейший пациент изволил жаловаться на жжение во рту наутро после ассамблей, даже не глядя на то, что сентябрь месяц был отведен одним лишь промываниям желудочного тракта.

Предписанное употребление капель, составленных из выжима сока ягод облепихи и шиповника, покуда облегчения не принесло, но ежели на ассамблее Кубок Большого Орла пит не был, досадного ощущения во рту и некоторого жжения не ощущается, из чего можно заключить, что органических изменений в кишках и печени не усматривается.

3. Жалоба августейшего пациента на ломоту в затылке накануне перемены к непогоде, дождю со снегом или же, наоборот, к солнцестояю объясняется тем, что атмосфер давит на кровь и она выше обычной нормы поднимается, заполняя мозг в избытке.

Однако ж пьетки, прикладываемые на загривок августейшего пациента, в течение часа боль снимают, и наступает сон, после коего следует полное облегчение при некоторой слабости, проходящей к утру следующего дня.

4. На тринадцатое генваря сего, 1725, года назначен концилиум, который должно провести перед выездом августейшего пациента в Ригу.

Профессор, доктор медицины Блументроост

** * **

7 января 1725 года

1

Последние два месяца Петр спал мало.

Пробуждался он теперь не в три часа, как прежде, до петухов еще, а в полночь. Первое время он неподвижно лежал в постели под белой буркой, подаренной ему Багратионами, глаза не раскрывал, полагал, что удастся еще подремать, но по прошествии недели понял — с прошлым покончено; видимо, началась бессонница; куда ни крути — шестой десяток; то, что раньше переносил, ныне уж не мог.

«И мужание и старение, — думал Петр, — происходит в одной мете времени, а поди ж ты, как долог день в детстве и столь быстролетен к старости!»

Поднявшись, он зажигал свечу, садился к столу, много читал, правил рукописи, держал корректуру «Санкт-Петербургских ведомостей»; вспоминал маменьку, брата Ваню, дядьку Артамона Матвеева; остро чувствовал запахи детства — воск, свежесдобитый хлеб, сестрицыны благовония; близко виделись ему узоры льда на узких стрельчатых слюдяных оконцах в кремлевских палатах; этот кружевной лед приятно было облизывать языком, сладостно таясь от мамок, развлекавших его песней, игрой в жмурки и пряталки со считалочками на «лебедь — белый, гусь — сизый».

Петр вспоминал, как измайловская мамка Надежда, самая любимая его — толстая, высокая, ласковая, — кормила поутру горячими оладьями со сметаной и медом; масло он отчего-то не жаловал, называл «склизким», норовил незаметно помазать им стол, чтобы блестело дерево, а вот мед из Воронежа (золотистый; пчелы лугом кормятся, мятой, липой и шалфеем пахло, когда вскрывали берестяные жбаны) поедал ложками; сметану велел разбавлять теплыми желтыми сливками, чтобы «ножик в ней не торчал»; а еще нравилось ему, когда приходили караваны с Волги и на стол подавали стерляжью желтую икру и розовую рыбу, чуть присоленную, — во рту таяла; на Масленой неделе мог съесть не менее взрослых; маменька-покойница радовалась: «Государь наш батюшка горазд не только умом да смекалкой, но и брюхом мужицким, — двадцать восемь штук, да с икрицей, не каждый такое осилит...»

Лицо маменьки Петр видел чуть что каждую ночь теперь; она была очень близко; глаза ее громадны, и в них по-прежнему крылась тайна; как, повзрослев, он ни пытался расспрашивать — матушка замыкалась, испуганно шутила, говорила безделицу, целовала за ухом, а потом, пряча слезу, шептала: «Сиротинушка ты мой длинноногий, орелик ты мой горный...»

Матушка отчего-то появлялась за мгновение перед тем, как проснуться; правда, несколько раз он видел исхудавшего, серо-голубого брата Ивана; плакал во сне, когда явился ему двухлетний Петр Петрович, сыночек ненаглядный, — не уберег, нет прощения от

Бога, за мои грехи взял самое святое, что было, — наследника, продолжателя, кровушку родную! Один раз вскинулся в ужасе оттого, что сестрица София склонилась над ним, щекочет распущенными волосами, а вместо зубов — клыки; ведьма, бесовка, хоть в глазах слезы, а пальцы добрые, подушечки мягкие, аж коже холодно, как нежны...

...Но сегодня, генварской ранней темью года 1725-го, Петр никого не увидел во сне — ни маменьки, ни братца, ни даже Софии (из живых-то и раньше никто не являлся ему, только покойники) — и проснулся, будто кто толкнул локтем; часы пробили час с четвертью; поднялся с кровати тяжело, натянул толстые носки, заштопанные давеча Мишкой; умылся, пощупал щеки, решил сказать денщику Василию Суворову позвать цирюльника; зажег вторую свечу (три никогда не держал, считал расточительством) и сел к столу — править прожект, над которым сидел последние три недели и про который не знала ни одна живая душа.

...Он сел к столу как раз в тот момент, когда первый лорд Великобритании сэр Александр принял в своей резиденции шефа Адмиралтейства сэра Дэниза, — все говорили об этом человеке как о вероятном кандидате в премьер-министры, несмотря на его молодость — всего пятьдесят пять лет.

По Гринвичу было девять пятнадцать. Только-только отзвонил Большой Бен; только-только начали набирать силу балы, — во французском посольстве праздновался день рождения наследника, а у хозяина верфи «Грейт» — помолвка внучки с португальским капитаном Магелланом, потомком известного первопроходца; только-только взошло к апогею веселье простолюдинов в пивных и портовых кабаках, подогретое добрым янтарным пивом и пенистым черным портером; только-только начались споры в клубах о сегодняшних дебатах в палате общин по поводу корректив в морском праве; только-только закончили работу журналисты, отправляясь из своих редакций на угол Флит-стрит, к Полу Веккерсу, чтобы выпить там традиционную чашку настоящего кофе из Америки; только-только Исаак Ньютон вышел из дома прогуляться перед сном по улице, освещенной долгим рядом фонарей — будто светлячки в ночи; только-только опустился занавес театра, — режиссер Джордж Вэдфорт предлагал зрителям новое прочтение «Гамлета», созвучное, как ему казалось, нынешнему времени, показывая не мстителя, но нервического наследного принца, которого не дело интересуется, а лишь мысль — сама по себе, очищенная от суеты; только-только пограничная стража запретила, вывесив три фонаря, вход в лондонскую гавань десяти голландским, двум испанским, французскому, ганзейскому и русскому судам; только-только стал успокаиваться огромный город на берегах Темзы...

Первый лорд империи, как и всякий человек, вынесенный к вершине могущества, давно оторвался от всех этих вечерних лондонских застолий, споров, амуров, стычек, интриг; он жил одним лишь — наукой политики. Порой она виделась ему точной, как расчеты старого друга Ньютона, — главное заключается в сохранении устойчивого баланса разностей; в случае невозможности достичь этого — тщательный поиск «неизвестного», то есть повода к войне, необходимой для того, чтобы силою и мором восстановить нарушенный баланс интересов.

Ощущая постоянное, порою излишне шумное давление на кабинет Его Императорского Величества со стороны финансистов, заморской администрации, Адмиралтейства, со стороны набравших силы, а потому особенно деятельных мануфактурщиков, Церкви с ее бесчисленной армией миссионеров, разбросанных по всему миру, — сэр Александр только в самом начале своей карьеры чувствовал из-за этого тревогу и неудобство; постепенно, с годами привыкнув к подъему по мраморным ступеням иерархической лестницы, он научился радоваться тому действию, которое каждодневно разыгрывалось в парламенте, палате лордов, во время аудиенций в Букингемском дворце; он ощущал острое чувство счастья и за себя, и за империю, которая — после всех тревог кромвелевских времен, после тягот войны за испанское наследство — заставила Францию с Испанией подписать мир в Утрехте, присутствовала при заключении Раштадтского договора, горделиво включив в свои владения акадские земли по Гудзонову заливу в Северной Америке, отторгнув их от Франции; Мадрид

же передал Лондону Гибралтар и Гвиану, Гамбию и остров Христофора, порт Магон и Минорку да еще право ввоза рабов в испанские колонии. Ныне Англия набрала сил и готовилась к борьбе за доминирующее европейское лидерство.

Две могущественные державы — Швеция, с ее огромным, трехмиллионным населением, с высокоразвитой металлургией, мобильной армией и высокой грамотностью, да восьмимиллионная Россия — заботили ныне Лондон особенно.

Россия виделась как бы сквозь сигарный дым; зыбка, непонятна, и хотя на картах, которые печатались в Лондоне, Ливерпуле и Глазго, территория, обьятая империей Петра, была самой большой в Европе и подчас казалась первому лорду зверем, затаившимся перед броском, серьезный анализ ситуации в мире делал скифскую угрозу не столь страшной... Россия, по мнению первого лорда, стояла перед выбором: либо идти на устойчивое дружество с Западом, либо, наоборот, предпочесть политику союзничества с таинственным, диким и властным Востоком; третьего не дано.

— Дано третье, — чуть улыбнулся сэр Дэниз, стряхнувший пепел с длинной черной сигары (только-только стали завозить в Европу, поначалу думали — туземная безделица, а принялась эта мода сразу; биржа начала успешно торговать огромные оптовые партии). — Дано третье, ибо Россия, радением Петра перестав быть окраинным государством, сделалась фактором европейской истории, и могучим, увы, фактором. Это держава, сэр, непредсказуемых тактических решений при единой стратегической концепции.

— То есть?.. — Первый лорд подвинулся еще ближе к бело-синему огню в камине.

— Стратегическая, глубинная концепция очевидна — это поступательное движение к могуществу при дальнейшем сближении с нами. В данном случае я имею в виду не столько Остров, сколько запад Европы в целом.

— Но ведь Петр — и в этой своей концепции — наталкивается на сопротивление своего самого близкого окружения...

— Концепция дружества с Европой принадлежит не ему, а его отцу. Именно царь Алексей впервые в истории своей державы привез в Москву наш, европейский, театр; начал выпускать — правда, всего восемь экземпляров, да и то под секретом ото всех — первую русскую газету, назвав ее опять-таки не газетой, а «курантом»; он же начал обсуждать вопрос об учреждении школ по нашему, западному, образцу...

— И при этом ссылал в каторгу своих просвещенных вельмож, — заметил первый лорд усмешливо, — за то лишь, что те читали книги, напечатанные не по-церковнославянски, а на польском языке. Что касается театра, то кому-кому, а вам, мой друг, наверняка известно, что, привезши из Европы труппу в Московию, отец Петра не рискнул самостоятельно разрешить представления, а обратился за разрешением к своему духовному надзирателю: «Можно ли глядеть лицедейство?» И лишь получивши ответ: «Да, можно, это не претит русскому духу и православной вере, ибо в Византии при дворе императора тоже случались увеселения, разыгрываемые лицедеями», — посмотрел на подмостках сказку. Какая великолепная верность традициям, не правда ли? Вообще, чем сильнее тяга к традициям древности в иных государствах, тем большая нам открывается перспектива утвердиться в лидерстве, поскольку обеспеченное будущее наших подданных важнее наивных мифов о былом величии англов, саксов и кельтов во время борьбы с легионами Цезаря!

— С этим можно спорить...

— Можно, но не нужно.

Сэр Дэниз понял, что первый лорд империи чрезвычайно серьезно подготовился к беседе, если знает всё и о театре, и о сосланных боярах-просветителях, — этот вечерний вызов на Даунинг-стрит был, видимо, далеко не случаен и давно продуман. Поэтому свою мысль — а сэр Дэниз был известен как сторонник англо-русского сближения — он продолжил осторожно, но тем не менее твердо:

— России слишком хорошо знаком ужас чужеземного ига, сэр, чтобы серьезно тяготеть к Востоку. Поверьте, ее тайная мечта, несмотря на оппозицию московских традиционалистов, — обручение с нами.

— Упаси нас бог от этого, особенно после брачного союза его дочери с герцогом Голштинским...

После долгой паузы сэра Дэниз задумчиво спросил:

— Вы полагаете более разумным повернуть Россию в объятия безбрежной Азии?

— А что вы называете Азией? — спросил первый лорд рассеянно.

— Скорее всего Поднебесную.

— А отчего не Турция?

Сэр Дэниз ответил сразу же — твердо:

— Оттого, что вера Магомета бескомпромиссна. Следовательно, сколько-нибудь прочный и долгий союз христианского православия с кораном невозможен.

— А кого вы прочите в гипотетические союзники России — если будущее измерять не годом и не десятилетием, но веком?

— Вы бы хотели получить ответ, который можно трактовать таким образом, что союзником России я хочу видеть не могучую Турцию, но Поднебесную империю?

— Но там же слепая вера в Будду, — улыбнулся первый лорд.

— Во-первых, Будда — не Магомет, он терпим и любопытен. Во-вторых, при дворе богдыхана множество католических миссионеров; их резиденции не только возвышаются в Бейпине, но и в Шанхае и Кантоне. И доминиканцы, и иезуиты — персона грата в Поднебесной империи; миссионеры даже Конфуция причислили к лику святых, наравне с Франциском Ассизским. Они — сила в Поднебесной империи...

— Тем более, — задумчиво произнес первый лорд. — Тем более альянс России с Востоком, который рано или поздно вольется в лоно ватиканской церкви, пусть, увы, еще не протестантской, но Христовой, и станет, таким образом, цивилизованным регионом, выгоден нам, ибо мужем сделается Азия, Санкт-Петербургу суждено быть супругой, а в этом — залог страдательности. Не станете же вы спорить против того, что у католичества еще есть шанс заключить мир с православием? И, наконец, последнее. Кто вам сказал, что мы намерены допустить прочный союз «Россия — Восток», если не только вы — а я вижу ваше несогласие со мной, — но и другие эксперты почитают такого рода альянс опасным для Острова? Мы же смогли сделать так, что Турция ныне стала главной угрозой Петру на юге? Мы же смогли вызвать смуты в Иране, сделав его нестабильным, а поэтому особенно опасным для Петербурга? Мы можем многое и на севере, разве нет? Швеция и Дания — карты в нашей игре. А на западе? Чего стоит вопрос о польской короне? И Швеция, и Австрия, и Пруссия претендуют на это золото... Словом, мы имеем достаточно сил, чтобы заставить медведя жить в своей берлоге безвылазно.

— Ну а если медведь все-таки выйдет из берлоги, сэра? — спросил шеф Адмиралтейства. — Угроза скифского вторжения в Европу в таком случае станет вопросом не веков, но десятилетий.

— Петербургские консерваторы клянут знания, — задумчиво произнес первый лорд. — Наука для них — бранное слово; маленькое тело нашего фрегата мужественно противостоит стихии океана, оттого что оно — дитя дерзкого разума; сотни слуг короны Его Императорского Величества будут властвовать над миллионами чужеземцев, ибо мы являем собою знания, они — слепую массу. Мир вступил в эру философии и ремесла, мы идем по этому пути, мы не намерены сворачивать; я ведь прав, когда говорю, что в Петербурге наличествует весьма могущественная оппозиция знанию и технике, не так ли?

— Русский государь столь широко развернул свои реформы, что я не удивлюсь, если в России наука, несмотря на определенное противодействие Петру, сделает неожиданный для нас рывок в качестве и количестве.

— Я жду более определенного ответа. Мне приятна ваша симпатия к России, но, как я мог понять из донесений представителей при дворе Петра, в Северной столице очень многие не поддерживают новации государя. Я бы считал разумным помочь тому, чтобы консервативная сила, стоящая в оппозиции императору, сделалась доминирующей в России. Для того чтобы мои консерваторы могли надежно править Островом, надо сделать так,

чтобы русские консерваторы провели законы о запрещении строительства новых городов, мануфактур, бирж; надобно бы подсказать им мысль об эмбарго, как это было раньше, на все и всяческие общения российских подданных с коварным, отвратительным, низким, гниющим Западом — так, кажется, старорусская партия называет нас в кулуарах?

— Да, — согласился сэр Дэниз, — такого рода определение можно услышать в Москве, вы правы, и не только в кулуарах, а вполне открыто.

— Я весьма тщательно изучил возможность ставки и на российских прогрессистов, на тех, с кем Петр сделался одной из крупнейших фигур нынешнего века. Люди эти сами по себе интересны и талантливы, слов нет, но ведь они случайны: многие из них — немцы, голландцы, англичане. Петр, будучи баловнем судьбы, выиграл их. За ними нет истории. А Россия — страна традиций: достоинства человека там, сколько я слышал, исчисляются — так же, впрочем, как и у нас в палате лордов, — древностью рода, слепой послушностью власти, желанием сохранить в недвижности мгновение, полагая, что в этом именно и сокрыт путь к бессмертию. Если бы у нас не было капитанов дальнего флота, губернаторов заморских территорий, фабрикантов и биржевиков, наша палата лордов легко превратила бы Остров в факторию Сингапура; именно так: не Сингапур — наша фактория, а мы бы сделали факторией Сингапура... Поверьте, тот, кто вознесся вместе с Петром, уйдет вместе с ним в героическую сагу. Но ведь саги лишены материальной силы; в плане политического баланса они — суть память, а память делается лишь по прошествии века, после того, как политический поворот стал фактором истории... Меншиков по-прежнему не появляется на балах?

— Последняя почта была от второго генваря, сэр. До того дня светлейший князь нигде не был замечен дипломатическими представителями.

— Вот видите... А Меншиков — ключевая фигура. Против него идет интрига. Или он сам начал свою? В чем причина охлаждения к нему Петра? Все это чрезвычайно интересно, не находите?

— Нахожу.

— Если я прав, значит, ставка на русских консервативных традиционалистов более разумна, чем надежда на нынешних радикалов?

— Мы разрабатываем такого рода стратегию, — кивнул сэр Дэниз. — Она абсолютна в том смысле, что отталкивает Россию от прогресса в науке, делая, таким образом, зыбкою державой, значительно более слабой, чем прусские и германские княжества, допусти мы вероятие их объединения. Согласен, игра стоит свеч, подступы к консерваторам у нас есть. Ну а если мы представим себе некий катаклизм на Острове? Упаси нас господь от этого конечно же — и все-таки? Мор, ураган, торжество интриг материковых государей, растущие амбиции мадридского двора?

— Мадрид как потенциальная сила перечеркнут, сэр Дэниз, с того момента, как Эскориал начал слушать слова святых инквизиторов, пренебрегши делами мануфактур и бирж; Испания обречена на медленное, но неуклонное сползание и ничтожество. Сначала дело, сэр, сначала дело, ибо слово служит его оправданием и началом для дел новых. Конечно, какой-то риск в том, что мы станем отталкивать Россию в болото, вспять, — очевиден. Процессы, вызревающие в темноте, опасны, спору нет. Но я хочу спросить вас, во что может превратиться Россия в ближайшее десятилетие, если уже за четверть века петровского владычества они, начав с нуля, достигли следующего...

Первый лорд резко поднялся, подошел к столу, достал из шкатулки листочки бумаги, исписанные мелким, убористым почерком, вернулся к камину и начал лениво перечислять:

— До Петра в России не было могучего металлургического дела, — железо он привозил из Швеции. Сейчас не только в Туле, но и на Урале его люди поставили мощные железоделательные заводы... До Петра в России не было виноградарства; он начал культивировать под Астраханью, а затем стал производить вина на Дону — как мне донесли, не хуже, чем на севере Португалии. До Петра леса в России — то есть чистое золото — вырубались произвольно, а он приказал описать каждое дерево империи на сорок миль от

берегов больших рек; за самовольную порубку ввел смертную казнь — акт высшего понимания цены общегосударственного богатства. До Петра в России практически не было общеобразовательных школ, он их учредил, несмотря на яростное сопротивление, — первый лорд впервые заглянул в свои листочки. — Оппозиция сформулировала свое негативное отношение к образованию весьма любопытно: «Не нами положено, не нам менять, лежи оно так до века!» До Петра в России не было колледжей. При нем — с помощью и наших навигаторов — открылись. Впрочем, вводя образование в ранг государственной политики, русский император отказался от римско-католического просвещения и обратился к нам, к голландцам и немцам за помощью в становлении прикладных лишь наук; ватиканских гуманитариев к себе не пускает; и тем не менее этого человека консервативная оппозиция называет антихристом, запродавшимися немецкой партии. А ведь за один лишь указ Петра — собирать в епархиях русские жалованные грамоты и летописи с передачей всего этого государственного богатства на вечное хранение в Синод — нация обязана при жизни ставить ему памятники, ибо никто еще из политиков за всю историю мировой цивилизации — до Петра, я имею в виду, — не придавал государственного значения истории как науке будущего... До Петра в России не было суконных мануфактур, не было культурного овцеводства, не было, наконец, губерний, то есть категории жесткой общенациональной государственности, не было налога с каждой живой души в имперскую казну. Если Петр продолжит свои реформы, величину Острова будет нанесен урон; Россия может стать первой державой Европы. Я серьезно опасаясь напора этого гениального, сумасбродного, расчетливого русского варвара...

Первый лорд аккуратно свернул листочки, положил их на место; шкатулку темного железного дерева запер узорчатым ключом, вернулся и, медленно опустившись в кресло, заметил:

— Возраст человека определяется не по тому, как он ходит, говорит, смеется или плачет, но по тому лишь, как он поднимается с кресла...

Сэр Дэниз улыбнулся:

— Вы сказали об этом, опустившись в кресло...

— Не ищите хитростей там, где их нет, — в тон ему ответил первый лорд. — Садиться еще труднее, если норовишь не очень-то поддаваться возрасту... Итак...

— Итак, консервативная оппозиция в Санкт-Петербурге...

— Я бы несколько скорректировал... Какая угодно оппозиция, — после долгой паузы сказал первый лорд. — Поскольку московские консерваторы тянут к идеальному прошлому, — а такого, как известно, нет и не было; поскольку, наконец, они негативно относятся к знанию, уповая лишь на собственный опыт, почерпнутый ими из изустных легенд, — сейчас, в ближайшем будущем, видимо, они сделаются нашей ставкой. Но вы расспрашивайте своих друзей, аккредитованных послов в Санкт-Петербурге, попробуйте обозреть тамошнюю ситуацию с разных точек зрения, более тщательно и в то же время более свободно. Возможность вольно фантазировать — путь к успеху в деле. К вам приходит, сколько мне известно, информация от саксонского двора, от шведского... По моим чувствованиям, в России грядут события. Я не очень понимаю, отчего Петр отправил в опалу Меншикова; мне до конца не ясно, что кроется в отстранении вице-канцлера Шафирова... До меня доходят слухи о некоем неблагополучии в семье русского императора... Так ли это?.. Действительно, он решился на подписание брачного договора между своей дочерью Анной и герцогом Голштинским. Верно, это вызов нашим интересам. Но отчего он пошел на такой шаг? На что надеется? Сколько сильны его позиции? Как надежна экономика? Верны ли ему все его соратники? А если нет — кто именно верен, а кто нет?.. Воистину, там грядут события... А если так — в какой мере мы к ним готовы? А если готовы, то каким будет наше действие? Ведь мы уговорились: Петр слишком силен и мудр, чтобы мы и далее бездействовали.

— Скажи мне бога ради, Феофан, отчего так повелось у нас спокон веку, что лгут царям, лишь угодное говорят, в глаза заглядывают, желание норовят прочесть, каприз — не мысль...

— Тогда и ты мне ответь, государь, — отчего так повелось у нас, что владыки рубят головы именно тем подданным, кои говорят правду?

— Тебе ведь не рублю...

Архиепископ Феофан Прокопович легко поднялся с темной, мореного дерева лавки; кресел, столь угодных нонешнему голландскому вкусу, не завел у себя в доме, и хоть окна были сложены не по-старомосковски, стрельчатыми и узенькими бойницами, а по-новому, широкие, в июне всю ночь глаз не сомкнешь, светло, что на улице, зато убранство залы было подчеркнуто старорусским: и сундук с татарским замысловатым узором (чеканка по серебру с голубой эмалью), и шкаф темного дерева со светлою инкрустацией — хвостатый павлин глаз закатил поволокою, вот-вот околевать станет, околеет, да снова глаз откроет, хитрый черт; в углу стояла чуть что не детская люлька — кровать архиепископа. Сколочена она была словно бы наспех, — куда там до меншиковских балдахинов с зеркалами; без узоров; истая люлька или как в келье, в монастыре: на людях не должно быть и мысли о блуде...

Опустившись возле сундука на колени, Феофан нажал потаенную кнопку, поднял тяжелую крышку, достал папку коричневой кожи, распахнул ее и, обернувшись к государю, сказал:

— Это, отче, посольства нашего Измайлова в Китай. Никак не решался тебе отдать.

— Да я же читал, — удивился Петр. — Лет пять назад...

— Четыре. Я тогда смог так дело поставить, что тебе огрызок на прочтение дали... Главное утаил я... Ты лишь измайловские слова про то, как он на коленях к богдыхану полз, прочел и пером отчеркнул, а подробность, которую посольский толмач Бадри записал, здесь была схоронена.

— Кто таков Бадри?

— Грузин, из сирот, к языкам склонен, два года у моих друзей обучался в Италии, умен и хваток.

Петр глянул на образа: лица святых были скорбны. (Петр вдруг заметил: «Все как один безбородые, значит, истинно русские — брились!»)

— Отчего ты мне лишь сейчас эту новость открываешь?

— Пора подросла... Три раза проверял... Это как хан в былые времена дань собирал... Не слыхал притчу? Первый раз послал он к нам в Суздаль баскака. Тот забрал скот, коней, курей; вернулся в орду. Хан его, однако, обратно отправил: «Мало привез, езжай проверь!» Нагрянул баскак во второй раз, всё подчистую выгреб, прискакал домой, а в орде всё одно недовольны, еще хотят. Баскак дурной был, правду любил: «Клянусь аллахом, всё подобрал! В сусеки лазил! Баб за косы таскал, позорил!» А хан ему в ответ: «Когда плачут, значит, есть еще припрятанное; плохо — тогда люди смеются, это, значитца, вправду шаром все уметено и труд твой во благо орды закончен — разор в Руси полный, навряд поднимутся...»

— Полагаешь, смех ныне стоит в империи?

— Пока, слава богу, плачут. Но смеяться начали те, что ближе всего к тебе...

Петр сразу понял, что Феофан имеет в виду: последнее время он перестал прощать казнокрадство даже самым любимым своим вельможам.

— Пусть десницу в мою казну не суют, — отрезал Петр, — не стану казнить.

— А как им жить и ассамблеи устраивать? На какие шиши? Мы же русские, мы лицом в грязь ударить не можем. Уж коль ассамблея, так чтоб не хуже была, чем у соседа, и чтоб сахарных лебедей на стол поставили, и чтоб с Волги осетров привезли, и чтоб зайцев зажарили да оленей... Платил бы ты служивым людям поболее — не воровали б...

— Денег нет, Феофан.

— А ты позволь процент с удачи брать, прибыль позволь делить; тогда им вертеться

надобно будет; не до жульничества... А так ведь все по твоему личному указу делается! Черту дозволенного — о коей никто не знает толком — переступить не могли...

— Они тогда только и станут делать одно — воровской процент с чужой удачи вымогать! — Лицо Петра замерло, словно перед страшной судорогой, но Феофан, влюбленный в государя, знал, что это другое у него (от какой-то обиды; он в такие мгновения детское в себе прячет, словно ежик топорщится); припадок у него от застенчивости бывает или от ярости, когда сил нету по-людски ответить, потому как противостоит дурь, вздор или хитрость, а как им противоборствовать — не баба ведь, не искричишься, не заплачешь...

Феофан вздохнул:

— Вон Демидовы — твои ведь крестники, — какие алебарды ноне производят на своей железной мануфактуре?! А посмотри, как другой твой крестник оборачивается — Павел Васильев! Эх ловко краску бакан открыл, сколь золотых денег казне сохранил, чтоб у голландцев не покупать для судов?! Да один твой Аптекарский остров что значит?! Откуда пошли лекари и аптекари российские — когда раньше об этом мечтать можно было?! А почему? Потому, что прибыль с оборота имеют люди. А Матвей Евреинов? Отдал ты ему в откуп тресковый и тюленевый промысел — и сколько лет ноне солдатские ботфорты держатся, не гниют, сколько сала пошло в склады?! При казенных порядках, государь, ничего доброго не было на Руси в мануфактурах и торговле да и впредь не будет.

— Ну, позволю я процент с оборота брать господам вельможам, — как бы себе ответил Петр. — А кто тогда станет порядок блюсти в империи? Кто учет подведет? Как все цифири в одну подбиты будут, для отечества общую?

— Была бы цифирь побольше, учетчиков найдется, вертелось бы дело живо, без помех — порядок сам по себе сохранится, да и гвардия у тебя рядом, и Тайная канцелярия бдит...

— Ты к чему это, Феофан? Ты мне говори суть — открыто и ясно! При сем помни, что народ наш как дети, которые за азбуку не примутся, пока не будут силою приневолены мастером, и сперва станет досадно им, и лишь когда выучатся — начнут благодарить! А разве мы всё уж успели в науке, особенно касающейся ремесел и торговли?! Особый закон власти — это закон резерва и времени.

— Слова твои истинны, всё так, но времени может не хватить, государь. Смех страшнее ропота, оттого я и решил открыть тебе полный отчет посольства Измайлова.

— При чем же процент с прибыли к делам Поднебесной империи?

— При том, что лишь в сравнении можно познать истину, а путь лишь тогда верен, когда наперед знаешь, от чего идешь и к чему стремишься.

— Словно навет читаешь, — усмехнулся Петр. — Фискал Нестеров перед своей поганой погибелью таким же голосом пересказывал мне свои красоты на господ губернаторов, требуя их казни...

Про фискала Нестерова тот же Феофан Прокопович говорил Петру: «Не верь тому из старцев, кто из кожи лезет, доказывая преданность кровавым делом; он для того твоим именем страх на всех наводит, чтобы ты его прежнюю службу — батюшке твоему и старшей сестре Софии — позабыл. Он не за правду губернаторов твоих казнил, а за то лишь, чтоб его самого чаша твоей мести минула; только б памятью бывшее заросло, только б кто тебе не напомнил, что он и со стрельцами был, и старине предан в глубине души своей, хоть и парик пудрит...»

Петр тогда Феофана не послушал. Он часто не слушал его, хоть и понимал, что тот прав; потом, впрочем, ярился на себя, но ведь тех слушают, кто душу мутит; самых ближних, как правило, бегут. Не слушал Петр архиепископа поначалу. С интересом наблюдал, как обер-фискал Нестеров, будто новый Малюта Скуратов, чистит империю метлою и страшит людишек оскаленной собачьей мордой. Собачьей ли? А не его ли, государев, оскаленный лик виделся за этим? Помоложе тогда Петр был — нравилось ему, что обер-фискал грязную работу делает, ужас наводит, разносы устраивает, порядок вроде бы держит, а как за пятьдесят перевалило, как взорвалось горе в своем доме, так начал любви искать, милости и

благодарности, а где их взять, когда историю за морду держишь, а по пальцам кровавые слюни текут? А отпусти на миг, ослабь, и полетит все в тартарары, кто потом соберет?

А в прошлом году повелел Нестерова казнить за взятки; сам повелел, без чьего-либо подговора...

Феофан кивнул на два листка, исписанных убористо, без прикрас, делово.

— Глянь — разрешить такое в Лейпциге печатать или порвать?

— Что это?

— Мне посвящение, — усмехнулся Феофан. — Иностранные профессора признали, их ученый президент прислал.

Петр приблизил лицо к свече, пробежал первые строки; заинтересовался.

— «Я часто смотрел на Вас, — шепча, читал Петр, — когда Вы опровергали басни древних народов или нелепейшие мнения философов; Вы как будто вводили меня в своих беседах в Рим, а когда Вы припоминали события всех веков, то мне казалось, что я внимаю образованнейшему человеку как в словесных науках, так и в высших искусствах. С каким удовольствием слушал я Вас, когда Вы описывали мне памятники древнего времени, виденные Вами в Италии, говорили о состоянии просвещения, о Ваших путешествиях и занятиях науками. Какая сила мысли и наблюдательности, какое изящество латинской и итальянской речи, какие живости и изящество во всем!»

Петр поднял сияющие глаза на Феофана:

— Нет воистину пророка в отечестве своем! Саксонец должен был к тебе прийти и понять то, что на поверхности лежит, а наши ревнители мне на тебя подметные письма пишут... Пусть печатают, благодарность ему отпиши, ты ж не царь, тебя хвалят не за корону, а за голову.

Феофан хотел скрыть улыбку, хотя видно было, что слова государя приятны ему.

— Спасибо, Петр Алексеевич.

Убрав странички, присланные иноземным ученым, положил на стол папку с посольским отчетом:

— Мне читать или сам станешь?

— Читай. Канделябров не держишь; глаза ломать — и так они у меня сдавать стали.

— Поставь я канделябры, духовенство мне и вовсе верить перестанет.

— Дурни старые, — беззлобно ощерился Петр. — Неужели лучше стать слепому, но при одной свече жить, чем сохранить зрение английскими канделябрами и зоркость блюсти до старости?!

— И я о том же. — Феофан вздохнул, приблизил свечу к страницам отчета. — Посол Измайлов — умнейший, доложу я тебе, татарин...

— Какой он татарин?! Чьему делу человек служит, той он и есть нации! Кому мои немцы да португальцы со шведами, голландцы с жидами да татары с англичанами служили? России, Феофан, России. Не будь их — не видеть бы нам с тобою ни Питербурху, ни каналов ладожских, ни сибирского золота, ни уральской меди, ни могучего флота! Думаешь, не знаю, что злые языки за моей спиной шепчут? Вещают, будто есть в наших жилах грузинская кровь. Чушь и вздор! Какой я грузин, коли новую столицу на морской север вынес?! В болота и хляби, а не к черноморскому берегу, хоть тепло мне по сердцу куда более, нежели здешний дождь со снегом...

Феофан обнял чуть осунувшееся лицо государя своими огромными рублевскими глазами и, откашлявшись, начал читать:

— «Все Поднебесье, по представлению тамошних жителей, подчинено богдыхану, имеющему под своей властью два рода государств — Срединную империю, называемую так оттого, что она якобы находится в центре вселенной, и вассальные государства, кои заселены не китайцами, а варварскими народами — англичанами, русскими, французами, немцами, обязанными повиноваться богдыхану. Сие исключает самостоятельность всех иных народов. Являясь сюзереном, сиречь владыкою всех других народов и государств, Срединная империя не может вести войны, ибо коли, по тамошнему понятию, не существует других

самостоятельных от нее государств, то с кем же ей воевать? Объявление Поднебесной империи войны другим государством есть невозможная глупость, разве вассал вправе объявлять войну сюзерену?! Это не война, а восстание, бунт темных европейских басурман».

Петр покачал головой:

— Чисто наши боярские деды пыжались; тьма теменью, а презрением полны ко всем, кого не понимают, хоть у тех и дом краше, и одежда добротней. Этот Бадри, видно, мне подмаргивает: «Вон, мол, сколько твои враги внутри имеют союзников вовне...»

— И я так его понимаю.

— Читай, Феофан, читай дальше...

— «Останется ли Поднебесная империя навсегда такою, какова она есть ныне, — продолжал Феофан, — зависит, по моему разумению, оттого, начнут ли здешние жители выезжать за свои границы, дабы с новшествами мира знакомиться и к изменениям жизни нынешней готовыми быть, либо заплесневеют в своем замкнутом царстве...

Хоть история не сохранила многих данных о первоначальном проникновении христианства в Поднебесную, можно полагать, что первыми христианскими проповедниками в этой стране были несторианцы, и отнести их прибытие сюда должно к началу VI века. Стало мне известно, что монахи, привезшие в 551 году шелковые коконы из Китая в Константинополь, были несторианцы. Единственным памятником деятельности несторианцев в Срединной империи служит мраморная плита, обнаруженная сто лет назад в городе Сининь-Фу, что в Шэньси. На плите этой выгравировано восхваление христианства, озаглавленное: „Апология распространения славной религии в Китае, с предисловием; сочинение Цинцина, монаха Сирийской церкви“. Говорят, что итальянский путешественник и купец, а по мне, мудрый лазутчик, Марко Поло, подтверждает раннее существование христианства в Китае; упоминание о христианских церквях в Ханьчжоу, Чинкиа-не и в других пунктах империи.

Истинное же начало католической работы, ведомой Ватиканом, почитать можно с конца XIII века. Первых посланцев (миссионеров) отправил папа Николай IV; его монах Монтекорвино прибыл сюда в 1291 году. Несторианцы возопили, убоявшись потерять свое влияние, однако же монах Монтекорвино заручился покровительством здешнего богдыхана Хубилая, разрешившего ему построить церковь и заняться проповедью. В 1307 году Монтекорвино так преуспел в своей работе, что был назначен архиепископом китайской церкви, в помощь ему были присланы из Рима семь епископов. Здешние люди говорят, что во время Монтекорвино число обращенных в католики лишь в одном Бэйцзине достигало тридцати тысяч. Следом за Монтекорвино был архиепископ Никола. О том, что творили католики в XIV и XV веках, известий сохранилось мало, однако ж грамоты говорят, что миссионеры действовали весьма успешно не только во внутреннем Китае, но и на окраинах, особливо среди монгольских кочевников. В 1582 году иезуитским миссионерам Михаилу Руджиери и Матвею Риччи удалось получить от губернатора Гуандунской провинции разрешение приобрести землю для устройства церкви и католической миссии. Дабы не навлечь на себя подозрения мандаринов, эти проповедники действовали с большей осторожностью и постепенством. Когда дела основанной ими христианской общины стали процветать, Риччи заручился покровительством местных сановников и при их содействии перенес свою деятельность в Нанкин. Правды ради заметить должно, что проповеди Риччи и его монахов не имели токмо религиозного характера; в своих обращениях к пастве они касались и научных предметов, особливо физики и астрономии. В Нанкине означенный монах Риччи завязал сношения с одним из евнухов богдыханского гарема, коему доверял сам здешний владыка, и через его посредство добился приглашения в Бэйцзин, где вскоре нашел влиятельных покровителей при дворе. Богдыхан Ванли назначил ему вспомоществование и позволил его помощникам и другим единоверцам поселиться в столице. Риччи успешно повел проповеди, работая не только среди простого люда, но и с образованными конфуцианцами, из коих многие сделались его последователями. Особенную ревность к христианству проявил мандарин Сю, получивший имя Павла, и его дочь Кандида. Не

довольствуясь исповеданием новой веры, семейство Павла приняло участие в проповедях и занялось делами благочестия и благотворительности. Кандида за совершенные ею добрые дела удостоена была императором почетного титула „добродетельной женщины“. Впоследствии она и ее отец были причислены к народному пантеону, словно святые.

Под искусным вождением Риччи католичество в Поднебесной сделало большие успехи, несмотря на зело сильное сопротивление здешних конфуцианцев и мандаринов. Успех Риччи объясняется как человеческими качествами сего „миссионера“, так его добрым знакомством с истинно китайским характером. Риччи вел свое дело исподволь, стараясь мягко примирить языческие верования китайцев с догмами католичества. Чтобы легче достигнуть цели своей, он допустил фикции, дозволив, например, считать христианским культ предков, не возбранял поклонение Конфуцию и идолам как богам, но под условием, чтобы на сих языческих изображениях был крест.

После Риччи христианская церковь в Китае пережила краткую пору беспокойства...»

— Что за пора? — сразу же заинтересовался Петр.

Феофан снова обнял лицо его своими длинными черными глазами-маслинами, пояснил:

— В 1617 году, после ссор с португальскими купцами, в Макао был обнародован указ, коим миссионеры, да и вообще все басурманы, изгонялись из Поднебесной вон. Последствий, однако ж, указ сей не имел; вскоре после того католики добились его отмены. Свержение Минской династии и воцарение Маньчжуров сопровождалось кровавыми смутами, что отразилось на положении христианства. Миссионеры, и во главе их ученый иезуит, как сумели обосноваться на севере Поднебесной, на границах с Россией, так поспешили объявить себя приверженцами Маньчжурского дома. Шааль посему сумел заслужить доверие нового монарха и сделан был начальником астрономического приказа.

— Шааль — француз? — поинтересовался Петр.

— Они нацию свою не любят открывать, коли отдались ватиканской службе... Но сдается мне, что он голландец, его родня вроде б к амстердамской бирже близка, в деле люди горазды...

— Далее.

— «Успехи папства продолжались до кончины в 1662 году богдыхана Шунджи. С переходом власти в руки регентства и началом новой смуты говор и ропот супротив христианства возобновились. В представленном регентам докладе христиане были обвинены в извращении древних верований и в подлом намерении изничтожить государево устройство Поднебесной империи. Монахи Вербист и Шааль были заключены в тюрьму, где последний и отдал богу душу. Однако ж богдыхан Канси, воцарившийся в 1671 году, прекратил избиение и вновь привлек миссионеров к своему двору. Слух ходит поныне, что посольские дарования патера Вербиста таковы были, что сумел он заслужить доверие нового богдыхана, указавши на грубые ошибки, допущенные составителями календаря, и обнаружил сим темное невежество китайских астрономов. В благодарность за исправление календаря богдыхан назначил Вербиста на место убиенного Шааля начальником своего астрономического приказа, даровал ему титул „даженя“ и возвел предков его в дворянское достоинство. Некоторые люди выражали мне мысль, что Канси покровительствовал христианам оттого, что сам склонен был к принятию веры Христовой, однако ж вероятнее, что Канси поддерживал миссионеров, дабы легче брать от них научные познания, ибо патер Вербист исполнил многие астрономические и математические работы по заказу китайского правительства, а для сего из Ватикана прислали в Поднебесную умельцев, ученых и философов...

Католики ныне, не глядячи на все перипетии, крепко осели в Поднебесной, и дружественности по отношению к Российской империи в них мало, хоть европейцы они, как и мы. Поэтому, сдается мне, коль мы не наметим стратегию общения с Поднебесной, придется нам вскорости не только с него горя хлебнуть, но и с миссионерами, кои идут караванами через Индию в столицу Поднебесной. А здесь они возбуждают противу нас двор, говоря про то, что мы и такие и ские, а главное — религии особой».

Государь мягко, прощающе улыбнулся; было много грусти в его улыбке.

— «У нас чуть что не так, совсем недавно писали, когда за книжку на латинице человека в каторгу гнали».

Петр погрузнел еще более; лицо, хоть и осунувшееся, но крепкое, словно рубленое, застыло, напомнив Феофану маску, которую рисовали на белых стенах венецианские артисты, изображая неутешность или отчаяние, прежде чем перенести это на свои лица перед выходом на сцену, сколоченную за ночь на пьяцетте старого города...

— Откуда родом этот толмач? Где обретается ныне?

— В Иностранной коллегии, сдается мне.

— «Сдается»? Узнай и сообщи точно. А это мне дай. — Петр протянул свою огромную, в ссадинах ладонь. — Напечатать выдержки велю в газете.

— Нет, — отрезал Феофан. — Если станем отдавать даже государю все, что принадлежало памяти и разуму империи Российской, как же потомки научатся европейскому порядку?

— Это к тому ты, что барин сам свою избу крошит?

— К тому, — ответил Феофан.

— За Бадри — спасибо. И вправду его вовремя мне открыл, ко дню... Кушать не стану у тебя. — Петр поднялся. — Скоромничаешь, норовишь быть святее Синода. Зря. Не оценят. Так что в другой раз, когда приду, вели грешневой каши натомить, гуся пушай нашпигуют яблоками, и скажи осетра разварить, только аккуратно, чтобы по ниткам не пополз. Мы, как татары, норовим всё прокипятить в семи водах, словно за Астраханью живем, в песках! Из водки настойку сделай тминную, чтобы желтой была и в нос шибало.

Встав, Петр не кивнул даже Феофану, шагнул к двери, распахнул ее своей суковатой тростью (сколь силы надо, чтобы такой поигрывать!) и, чуть склонивши круглую (сзади похожую на детскую) голову, нахлобучил круглую мягкую шляпу чуть не на самые глаза.

Последнее, что заметил Феофан, были сбитые набойки чиненных неоднократно ботфортов; если бы не протирали денщики тюленьим салом ежедневно, стали бы рыжими, в белых потеках, ни дать ни взять — корабельный мастер идет на черную работу.

3

Беринга государь принял в своем домике на Неве, в столовом кабинете; угостил хорошим итальянским «чокелатом»; поинтересовался, не хочет ли капитан испробовать вина; согласно кивнул, выслушав отказ; спросил рассеянно:

— Как ты, Витус Иванович, относишься к Птолемеевой работе?

— Единственная, по моему мнению, книга древних, — ответил Беринг, — которая при всей ее талантливости подлежит быть переписанной наново.

Петр пожал плечами, несколько раздраженно заметил:

— Коли книгу надобно переписывать наново, какой толк в ее талантливости? Лучше уж новую сочинять.

— Государь, я не предлагаю в ней менять тенденцию, я говорю лишь о том, что ее следует дополнить теми открытиями, которые обогатили знание, начиная с Колумба и Америго.

— Не слишком ли легко отказываешься от первой своей фразы? — строго спросил Петр. — Мне люб спор более, чем покорное согласие.

— Так государю лишь кажется, — возразил Беринг. — Однако же на практике каждый владыка более всего чтит согласие с его мнением.

— Значит, я плохой владыка, Витус Иванович. Ответь теперь на мой следующий вопрос: отчего я — при нонешней нищете в казне — тем не менее дал тебе все, чего только можно желать, для предстоящей экспедиции?

— Полагаю, оттого, что богатства, кои рассыпаны на восточной оконечности Русской земли, того стоят.

Петр неожиданно спросил:

— Домой, в Копенгаген, не тянет, Витус Иванович?

Беринг отодвинул недопитую чашку чоколата, холодно поинтересовался:

— Я дал Вашему Императорскому Величеству повод быть недовольным моей службой российскому флоту?

Петр покачал головой:

— Все вы, иноземцы, гордитесь своей свободой вольно обращаться со словом... И правильно гордитесь... Почему ж нас лишаете такого же права? Вольность — понятие двустороннее и означает возможность открыто спрашивать про то, что тебя интересует, а не один лишь политес соблюдать...

— В Копенгаген меня не тянет, государь, ибо родина человека там, где его дело, где близкие его живут и друзья. Все это у меня в России; ею во время странствий моих грежу.

— Спасибо. Службу твою ставлю высоко, однако нынешняя твоя экспедиция мне важна не столь теми ценностями, кои, бесспорно, лежат на восточной окраине державы, сколь ее политической функцией. Как полагаешь, в чем я ее вижу?

— В укреплении и обживании всех пограничных оконечностей империи.

— Нет. Это рано еще, силы не те.

— Тогда просил бы вас, государь, изъяснить мне истинную цель предстоящего похода...

Петр поднялся из-за стола, походил по маленькой своей зале, чуть не касаясь головою темного, мореной сосны потолка, остановился возле окна, уперся лбом в стекло, долго смотрел на то, как снег змеился по Неве, потом заговорил:

— Видишь ли ты, Витус Иванович, я сегодня довольно просидел в Иностранной коллегии, в архиве, а засим в Синоде, просматривая те материалы, кои относятся ко времени Крестовых походов. И родилась у меня некая концепция, относящаяся к началу сего тысячелетия, а посему, вполне вероятно, она может быть в действии не один и не два века — нашим потомкам хватит ее расхлебывать...

Беринга, как человека морского, то есть сугубо определенного в решениях, всегда поражала манера русского царя «лить» фразы, строго следуя логике, причем, как отмечал неоднократно капитан, тот строил свои рассуждения наподобие спичей, которые произносились при дворе князя Багратиони: самое важное, основное, ударное, подчас противоположное, казалось бы, строю всего предшествующего рассуждения, ударяло в самом конце. Поэтому Беринг внимал каждому слову Петра, каждой интонации, фразе — пустых не было, всякая несла смысл и тонкость.

Петр вернулся к столу, продолжил:

— Ватикан сугубо хранит свои тайны. Однако же чем объяснить столь определенное движение Цезаря на север и запад? А Барбароссы, наоборот, — с севера на юго-восток? Полагаю, что толчком к Барбароссовым кумпаниям был Птолемей, ибо его концепция до сей поры во многом истинна: «Кто владеет морями, тот правит миром». Не могло не пугать западных европейцев и то, что Птолемей писал о «варварах», причисляя, понятно, и нас к ним. Произошло, коли хочешь, некое смыкание идей Цезаря и Барбароссы, не говоря уж о папе Иннокентии Третьем, отце Крестовых походов, в их желании видеть Европу единой, растолкавшей все иные племена и народы. Сдается мне, что Крестовые походы были не чем иным, Витус Иванович, как кумпанией по выходу Западной Европы в подбрюшья Азии, в Византию, откуда открыты все пути на Восток. Прогляди схемы их движений, и ты убедишься, что версия моя не лишена некоторого основания. Марко Поло не просто венецианский Беринг, не только искатель новых земель; я склонен считать его талантливейшим папским лазутчиком, прознавшим путь через земли варваров в империю иноцветных. Китай не был страшен в ту пору папскому двору: только у наших художников, Ивана Никитина с Танауэром, разные краски, смешиваясь, являют новое качество. О смешивании китайцев с европейцами Ватикан не помышлял и не помышляет, понимая, что отталкивание сильнее притяжения, особенно в вопросе племенном. Марко Поло прознал и

про Урал, и про пути туркестанские, и про Каспий, и про Понт Эвксинский. Ватикан дела свои впрок готовит, и не тогда ли еще возникла мечта отправить в Поднебесную миссионеров. Дабы окружить нас, русских, неким общим фронтом: с западу — единые нам по крови поляки с чехами, подданные католичества, с юга — мусульмане, с востока — либо буддистские богдыхане, либо — коли успех будет сопутствовать Ватикану — желтые католики. Сколь здесь ни бейся, как ни рубись через Балтику к Ганзе и Лондону, все одно силы государства станут высасывать оборона западных, южных и восточных границ. От Иерусалима, куда так алчно смотрел Ватикан, до Китая — через Персию — рукой подать. Почему я и полагаю, что твой поход на крайний Восток должен не токмо поиском новых островов ограничиться, не одним лишь охранением наших богатств в дальней Татарию, но и поиском удобного сообщения с Америкой, открытой Колумбом...

— Полагается обратить Новый Свет в нашего союзника? — спросил Беринг.

— Кто не дерзает, тот проигрывает, Витус Иванович. Почему нет?

— Там дикость царствует, там индейцы бьются против британской и гишпанской короны, там зыбко все, государь...

— А у нас сто десять лет назад тому, в году смуты, не было зыбко?! А во время ига?! Но ведь и тогда Ватикан внимательно следил за тем, что происходит в Московии, и после первой же победы начал слать послов и к Калите, и к Василию, а Иван Третий и вовсе сочетался браком с Сонькой Палеологовой...

— Но ведь она была православной...

— Европейское православие — игрушечное, Витус Иванович; только в нашей державе, суровой климатом, лежащей на берегу Ледовитого океана, в него верят, потому как из-за нищеты нашей лишь церква праздник приносит людишкам, надежду, упование на счастье на том свете.

— А ну как нищету искоренить, государь?

— Что ж, русский Лютер может появиться, не спорю, но вера ноне — неистребима, такой мой народ.

— Папы во время походов такое же говорили о западных европейцах, а сколь потом новых религиозных школ создалось?

— На святое голос не подымай, Беринг!

— Сами ж призывали меня к спору...

Петр усмехнулся:

— А ты колюч.

— Попробуй будь иным, в сей же миг схарчат!

— Ладно, ершись, только открой мне российский путь в Новый Свет, это главный смысл твоей экспедиции, но про этот главный смысл только два человека знают: ты да я. О будущем думать надобно загодя, побеждает тот, у кого есть могучий союзник, а могущество определимо двумя параметрами: обилием земель и множественностью народа. У нас его тьма, чуть что не восемь миллионов, оттого и боятся нас... За океан дорога из Гавра дальняя и опасная, а все одно едут — начинать с чистого листа охочи многие; Америка — воистину чистый лист; мы тоже начисто Питербурх зачали, в этом наше сходство. От нас, коли всё толком разведать, путь в Америку легок, безопасен и выгоден. Знаю, что и от этой моей препозиции многие шарахнутся, но Спиноза был прав, утверждая: «Верум индекс суи ет фалси»; именно так: «Лишь истина — пробный камень как себя самой, так и лжи».

Помолчав, Беринг словно бы себе заметил:

— Государь, короткую фразу, как и простую мысль, легче понять множеству; вы же мыслите высоко и сложно, говорите как философ, уповая лишь на таланты, восхищенные вашим гением. Не слишком ли рискованно?

— Витус Иванович, коли в политике подстраиваться лишь под малых — умом и ростом, — тогда не Русью надобно править, а каким-нибудь княжеством, которое мечтает о том, чтобы удержать существующее. Мы же будущее своего народа иначе видим.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Сэр! Мое предыдущее донесение, датированное днем тридцатого декабря года 1724-го, посвященное сложной ситуации при дворе русского императора, требует внесения корректив, а поскольку Вы приучили меня к мысли, что не ошибка страшна, но упорствование в оной, я полагаю своим долгом отправить с нарочным это короткое донесение.

Суть в том, что дипломаты парижского двора, а также кавалеры из Нидерландского королевского посольства в беседе с моими людьми вчера, после ассамблеи у графа Толстого, весьма подробно исследовали состояние здоровья Петра Первого; говорили, что, мол, русский государь хвор и его поездки минувшей осенью на воды вполне могут служить тому подтверждением.

Все это так, но капитан парусника «Мэри Лю», знакомый Вашей службе Джеймс Ричардс, поставляющий двору вино «Эрмитаж», доложил мне, что Петр проводил на борту его корабля самоличную дегустацию и был в отменном здравии; весел; пил зело, не как человек, организм коего источен изнутри тяжким недугом.

Я, как и положено лазутчику Вашей, сэр Дэниз, выучки, счел за долг провести исследование мнений, столь разных, и мне открылась прелюбопытная картина: поскольку аналоги позволяют понять явление более, чем дерзкое предположение, нелишне вспомнить, что русские государи — так было с Иоанном, прозванным Грозным, — накануне резких поворотов своей политики, будь то внешний ее аспект или внутренний, предпринимали шаги, кои долженствовали посеять недоумение среди подданных, породить в них желание определенности и ясности. Иоанн сказывался больным, покидал Кремль, отказывался от царства, ожидая, как простолюдины и армия ответят на демарш такого рода.

Мои вновь приобретенные русские друзья полагают, что Петр начал именно такого рода кумпанию, однако же каковы его истинные планы, никто предположить покудова не может, слишком уж неожидан быстрый ум русского государя, слишком резкими бывают повороты его курса.

Тем не менее, сэр Дэниз, даже не будучи в состоянии сообщить, что намечается в северной столице империи, я почитал себя обязанным доложить Вам о том, что ныне представляется наиболее интересным.

Остаюсь, сэр, Вашим покорным слугой.

Питер Киберлэнд

Санкт-Питербурх, генваря 1725-го, день седьмой

** * **

Сир!

Мои друзья, весьма близкие к могущественным вельможам государя, сообщили, что Петр не далее как следующим летом намерен провести переговоры с Турцией, дабы решить — по возможности — спорные вопросы, ибо всем в Питербурхе ясно, что покуательства Оттоманского двора на Персидские земли страшат императора, поелику за сим видит он угрозу христианскому Кавказу, особенно Армянским и Грузинским землям. Говорят, что истинною причиною прошлого персидского похода Петра была единственная цель: отнюдь не приобретение новых земель за Каспием, но лишь удержание тех княжеств, кои входят или же тяготеют к его державе.

Понятно, что Париж, стоящий постоянно за союзнической ему Турцией, делает все во имя того, чтобы подтолкнуть своего симпатизанта на Восток, дабы, пользуясь смутною, царящею в Персии, захватить ее земли и таким образом продлить свою границу с Россиею за Каспий. Сие не может не нанести урона казне Петра, поскольку он должен будет — в случае успеха его противника — держать сильное войско для охраны своих южных границ, что есть разорительно для экономики державы. Поскольку же Петр до сих пор не смог

добиться дружественного союза с Людовиком, тот делает все, чтобы подвигнуть Турцию к новому походу против России или же Персии, что равнозначно удару по России.

Сие заставляет меня думать, сколь угодно это нашей политической доктрине, ибо, узнавши Россию близко, могу утверждать, что победить ее силою оружия невозможно, а озлобить, превративши в вооруженный лагерь, весьма и весьма просто.

Меч достать из ножен легче, чем вложить его — без крови — обратно.

Осмелюсь, Сир, высказать суждение, суть которого кроется в том, что искать ключи к ослаблению — в наших интересах — империи Петра надежнее не вдоль по его границам, но внутри державы, ибо по сей день здесь существуют силы, кои не устают твердить про то, что смысл России не в европейской или же южной ее политике, но лишь в делах домашних, внутренних, обращенных на охранение древних традиций, столь угодных боярским консерваторам, бегущим дела, кои почитают они суетным и недостойным величия. В случае, ежели Вы, Сир, всемилостивейше разрешите мне провести беседы с Долгорукими, выступающими против реформ Петра, и с Голицыным, который, сказывают, имеет свой, особенный взгляд на будущее империи, я не премину встретиться с ними для подробного обсуждения дел. Сказывают также, что — с противной стороны — вельми и вельми интересен для нас Петров любимец Остерман.

Остаюсь Вашего Высочества покорнейшим слугою,

Зигфрид Дольм

** * **

8 января 1725 года

В гавани пахло дегтем; самый любимый с детства запах: потешный ботик сразу же вставал перед глазами; все связано воедино в жизни нашей: запах — образ — мысль; одно слово — память, а сколько же оно вмещает в себя! Ботик — запах озера — чумазный Алексашка (мин херц, сукин сын, неужели ж дружбу продал?!), ночные ужасы, когда, затаившись, ждал — вот ворвутся стрельцы и айда сечь головы; кровь брызжет; вопль стоит, матушка, посинев щеками, бьется на каменных плитах.

...Петр журавлино вышагивал по пирсам, глядя вроде бы только перед собою, как вдруг, словно бы споткнувшись обо что-то невидимое, встал, как замер.

— Что в тюках? — ткнув тростью в грубую британскую мешковину, спросил государь таможенного ассистента Акимкина, покорно семенившего сзади, рядом с адъютантом Суворовым.

— Еще не вызнал, — с торжествующей искренностью в голосе отозвался Акимкин, и Петр сразу понял, что зритель врет: всё знает, черт.

Повернувшись, государь легонько ударил Акимкина тростью по бедру и сказал тихо:

— Ну?

— Да неведомо, неведомо мне, господи! — взвыл Акимкин, но, угадав, видимо, движение руки царя за долю мгновения перед тем, как он снова взмахнет палкой, воскликнул: — Не знаю! Не знаю, хоть сдается, сукна привезли из Ливерпулю!

— Кому?

— Ну вот хоть казни...

Петр резко поднял трость, и Акимкин ответил упавшим голосом:

— Купцу Гордейкину.

Петр процедил сквозь зубы Суворову:

— Гордейкина бить кнутом и гнать в Сибирь с позволением поставить там торговое дело, но без праву продавать заморские ткани, кои русским урон нанести могут... Тварь, скот, сколь сделано, чтоб своя суконная мануфактура набрала силу на благо отечеству, а он аглицкий тонкий материал, вишь ты, несмотря на таможенный запрет, тайком в лавку к себе тащит! А ведь ворот рвет на себе: «Я — истинно расейский! Купец из Москвы! Для меня благо отечества всего превыше!»

— Он с Твери, не московский, — заметил Суворов.

— Сколько с него взял? — спросил Петр Акимкина. — Не лги только, Фома, я тебя из дерьма поднял — в него ж и верну...

— Да не брал я ни деньги, ни деньги не брал! — тонко запричитал Акимкин. — Черт меня попутал! Гордейкин-то говорит, мол, не сукно это, а матерьял, а я почем знаю, какой именно матерьял в каждом тюке? Не вспорешь же!

— Сколько взял? — повторил Петр.

— Кожу сдери — ничего не брал, вона табаку он мне привез, голландского, я с нашего чихаю и кашляю...

— Фома, ты ж знаешь, что мне купец Гордейкин всю правду откроет. Он про отца родного мне скажет, лишь бы кнута избежать! Повинись, Акимкин...

Тот бросил шапку под ноги, скинул в грязь свой кафтан, затрясся аж:

— Стегай кнутом — не брал, и все!

Денщик Суворов уважительно заметил:

— Взял, видно, много, но не откроется, жила крепкая.

Петр усмехнулся:

— За то и держу супостата.

Акимкин, поняв, что пронесло, начал браниться, зло задирает купцов, капитанов, господ вельмож, власть; но смотрел все же при этом на государя выжидающе, жалостливо, со слезою.

Петр огладил острые усы и приказал:

— Мешки взрежь, сукна бросишь в воду, прорубимши прорубь!

— Сделаю, батюшка!

— Вот и делай, я подожду. И каждый отрез при мне проколи тесаком, да с поворотом, чтобы дыра осталась. А коль решите без меня ливерпульский матерьял со дна поднять, высушить да в Тверь отвезти, дабы несмышленишам моим из-под полы торговать задешево, — простись с жизнью... Суворов, один мешок брось-ка в коляску, он нам с тобою для казенного дела пригодится, только аглицкую мешковину сдери и тонкое сукно оберни российским матерьялом, чтоб пожалостливее да победнее выглядело, да отыщи здесь рулон нашего сукна, рубах пару и тулупов.

...Петр не ушел в контору до той поры, пока Акимкин не покидал в море все отрезы, исколовши их предварительно тесаком, шепча при этом слезливые проклятия.

...Капитан-президент петербургской гавани Иван Петрович Лихолетов видел в окно, как государь гонял своего любимца Акимкина (тот отличился под Полтавою, а затем выучил в Голландии навигационные науки и весело бранился с иностранными капитанами, торгуя с них более золота за быструю и добрую разгрузку, хорошее место на причале и чистый пакгауз, все деньга вносил в казну; Петр это знал, ценил высоко, потому только и прощал «маленькие шалости» с табачком от купца Гордейкина). Лихолетов опасался, как бы государь, вконец разгневавшись, не столкнул Акимкина в ледяную воду, но пронесло, из конторы не вышел, и не потому, что боялся попасться на глаза, а оттого, что государь не любил, когда перед ним лебезили; уважал достоинство в себе, это же превыше всего ценил в окружающих; тех, кто бегом к нему через лужи бёг, почитал за дремучих холопов, наивно полагавших, что, называя себя дурьими, шутовскими именами да бухаясь в грязь ниц, тем изображают истинную преданность отечеству и царю.

На сдержанное приветствие Лихолетова государь не ответил, сел на высокий подоконник, струганный как в Англии, — чистое дерево, промазанное маслом, — и сказал грозно:

— До каких пор взятки будет брать твой прохиндей?!

— Мой прохиндей — твой подданный! Взятки берет не он один, а все, и будут брать до той поры, покуда служат букве, а не делу.

— Ты что ж такое несешь, а?! Ты что, взятку оправдываешь?! Лихоимство?! Побор?!

— Я не оправдываю, государь, я объясняю... Ты вон только скажи своему кухмайстеру,

что каши хочешь али мяса кусок коровьего, — тебе и гречки сварят, и мяса; повелел своему камергеру для дочек сапожки стачать — тут как тут сапожки, загляденье — носы наверх и бисером расшить! А у Фомы Акимкина сын на двор не выходит — не в чем, бос. Жалованье уж как год нам казна не платит, а и платила б, все одно не хватило бы на кашу и на сапожки! Либо на стол, либо на одежду! Копейкой твоей сыт не будешь, с гроша не оденешься...

Петр вздохнул:

— Все вы здоровы разнос государству давать, а кто б выход предложил, перспективу...

— Ты, государь, меня принудил ученье постичь, благодарен тебе за это, через тебя искусство математики и химии постиг, а ни одна из этих наук без логики невозможна — для того латынь учу в старости... Не гневись, скажу так: правишь ты не по науке, а по одному лишь гению своему. Геометрию ты нам велел постичь, сам экзамены принимал, а что ж ныне государственной геометрии бежишь?!

— Это как? — несколько даже оторопел Петр. — Ты что говоришь, Иван? Разумеешь, что говоришь, али нет?

— Говорю что думаю! Сам приучил! Твое олово — закон для меня... Ты смотри, что ноне выходит в державе, государь: ты норовишь с господами вельможами сам всем править — суконными мануфактурами, и аптекарскими товарами, и флотом, и ассамблеями ночными, и купецкими ремеслами, и фасонами, кои надлежит подданным твоим перенимать, и длиною париков, и очередностью блюд за столом... Да разве ж можно такое?! У тысячесильного мочи не хватит, не то что у тебя! Ты себе главное оставь, государь! Ты флот себе оставь с армией, да законоположение, да Иностранную коллегию, да образование с финансами, но дозвожь же, ради Христа, фабриканту мануфактурой заниматься без подсказов твоих чиновных людей; мастеровые пушай по своему деловому — тебе подотчетному — усмотрению берут умелых людей и счет ведут с ними сами, ты лишь срок им дай и цену назови, пушай не бумагою, но делом отчитываются перед тобою! Дозвожь строителю самому дела с плотниками ладить! Прикажи купцу барышом отчет давать в казну, а не взятку волочь в Коммерц-коллегию, потому как в той коллегии такие же люди сидят, кои запретить всё могут, а вот честно заработать, то бишь в долю войти с рудных дел мастером, портным али купцом, — что казне выгодно, а потому государству резон есть — никак не вправе, оттого и получается взятка, сами ж к ней толкаем, а голландец с немцем злобствуют: «Русский — от природы вор!» А он не вор, русский-то, он добряк от природы и работник, только стало так, что руки ему повязали жгутом, а развязать никак не хотят... Эх-хе-хе, государь, казни, не пойму, зачем тебе на себя всё брать? Пусть — согласно науке, по геометрии — не на тебя одного весь груз отечества давит, а и на свободных твоих подданных. Ты направление мыслям да границу империи береги, да науки вводи, да казну множь. Чем богаче у нас каждый станет, тем держава будет мощней... Оттого, что все нашему человеку воспрещено от века, кругом одни «нельзя», неподвижность плодится и страх, а посему — лень и постоянное желание жить по приказу. «Ты прикажешь мне, а я, глядишь, покряхтемши, выполню спустив рукава, от приказной работы мне выгоды нету, мне б форму соблюсти да отчет сделать...» Ну ладно, ты — Петр, твой указ умному да ученому — люб, а коли на трон другой придет? Тогда что? Ждать, куда помрет? На неведомого нового уповать? А кто он? С чем идет? Верен ли твоей задумке или совсем у него на уме иное?

После долгой паузы Петр заметил:

— Дерзок ты.

— Правдив.

— Одно и то же.

— Тогда прости.

— Расспроси-ка аглицких и португальских капитанов, — задумчиво сказал Петр, — кои в Великую поднебесную китайскую империю товар свой возят, — что за страна, каковы тамошние коммерсанты, что за нравы на побережье, разнятся ли от обычаев

континентальных, сколь сильна ихняя вера, есть ли там опора церкви ватиканской?

— Исполню... Но сей миг я другое в разговоре с капитанами слышу: страшится тебя Европа, больно силен...

Петр пожал плечами, стал оттого еще больше ростом:

— Страх в государственном деле не помеха, особливо когда дурни его испытывают али честолюбцы... Плохо, когда умный боится, он тогда думать перестает, а сие — державе убыток...

— Державе убыток оттого, что казна всё в своих руках держит, — нет человеку простору для деятельности: ни мануфактур поставить по собственному, а стало быть, государственному уразумению, ни трактир открыть — все ноги обобьешь, пока бумагу получишь, ни постоянный двор или лавку для какого товару...

— Врешь! — как-то устало, а может быть, даже сочувственно Лихолетову возразил Петр. — Коли с умом и весомо обратиться, коллегия не откажет умелому человеку ни мануфактуру поставить, ни лавку открыть или постоянный двор при дороге. Я ж знаю, напраслину не говори!

— Государь, — вздохнул Лихолетов, — это тебе реляции из коллегии пересылают, что, мол, возможно, а ты пойдя да сам попробуй разрешение получить! Замучат тебя, завертят, малость тебе твою же докажут, и всё оттого, что у нас лишь один человек решает за всех — ты! Кому охота твое право на себя применять? Ан не угадает?! Ты ему за это по шее — и в острог! Нет уж, лучше не разрешать — за это ты побранишь, но голову на плечах оставишь: у нас ведь только за «да» голову секут, за «нельзя» — милуют!

2

Во двор острога, что при Тайной канцелярии, татей и злоумышленников, приговоренных к отправке в Тобольскую крепость, выгнали поутру, покуда еще тюремное начальство отдыхало после ассамблеи. Кандальники были построены на плацу, кованы по рукам и ногам; фельды лениво, в который раз уже, перекликали имена каторжан, экзаменовали на рядность и парность; томительна жизнь служивого человека по острожной части — ему хоть бы чем заняться, а занятия нету, вот переклик и есть утеха от скуки.

Увидав Петра, вышагивающего по темному еще плацу, старший из фельдъегерей восторженно поднялся на мыски и высоко прокричал:

— Слу-ша-а-ай!

— Чего слушать-то?! — глухо оборвал его Петр. — Глядеть надо было заранее, покуда я шел, глаз обязан поперед уха быть — попомни сие! Где Урусов?

— Пятым во втором ряду, — ответил фельдъегерь срывающимся от счастья голосом: когда еще такая честь выйдет, что с государем говорить!

— А ну, ко мне его!

— В подвал? Для пытки?

— Нет. Сюда.

— Из пары выпрячь? Он ведь у нас с другими татями в упряжи.

— Сколько их там?

— Тринадцать душ, чертова дюжина, — для того, чтобы позор и бесправие цифирью подчеркнуть.

— Ну-ну, — усмехнулся Петр, — отчеркивай...

Придерживая шпагу одной рукой, а второй — не по размеру большой парик, фельдъегерь рысцою бросился через плац к воротам.

Петр не смог разобрать длинные, свирепые слова команды, которую тот прокричал, но каторжане, видимо, поняли его сразу, глухо загрохотали через плац деревянными колодками и, подбежав к государю, замерли.

Петр кивнул фельдъегерю:

— Ну-ка, изволь пригласить сюда денщика, господина Василия Иванова Суворова, — он коня моего чистит возле шлагбаума, и донеси сюда тот узел, что в двуколке лежит, в ногах.

Фельдъегерь — по-прежнему аллюром — бросился к шлагбауму, а Петр, обедая тяжелым взглядом серые, истощенные лица каторжан, заметил:

— Главное, дурни, добились — скоро вновь бородами обрастете, души свои потешите... Кто здесь Урусов?

— Я, государь, — чуть шепеляво ответил голубоглазый блондин с поразительно маленьким, совсем не мужским, а скорее детским еще ртом.

— Ну, Урусов, повтори открыто при честной кумпании — пытаться тебя более не станут и головы не посекут, — что ты возле церквей людям говорил?

— Говорил и повторять буду, что губят народ русский! Повторял и говорить стану, что нехристи немецкие да англиские взяли нас всех в кабалу и ростовщичий рост — из рук антихриста!

— Это с моих, выходит, рук?

— С твоих, государь!

— Грамоте учен, Урусов?

— Нашим книгам, кои древними буквицами рисованы, душа моя предана.

— А что в тех старых книгах напечатано про то, какой была Россия двадцать лет тому назад? Рисовано ли в тех книгах, где границы нашего государства простирались?

— Не книжное это дело, государь.

— А чье же?! — смиренно удивился Петр. — Ты ведь по России скорбишь, а державу и ее честь определяют размер территории и величина народонаселенности! Когда антихрист Петр на трон пришел, ты морей не видел. Питербурх на страх врагам не стоял, Азов словно штык был нам в подбрюшье! Ты Ригу — города, ныне нашего, — трепетал как форпоста, любезного для европейского завоевателя, будь то хоть наш брат и враг Карл, король шведский, будь то кто иной! А ныне?!

— Душу русскую потеряли мы ныне! — воскликнул Урусов, быстро облизнув верхней, чуть выступавшей губой нижнюю, маленькую.

— Значит, тебя только душа наша заботит? Тело — бrenно? Так, что ль?

— Тело духу принадлежит, государь. Как на наше тело надеть англиский камзол, да прусский ботфорт, да французский шелк-батист, то и душа переменится. Мы долгие века свое носили, домотканое; своим умом жили, не басурманским; свои дома рубили — окном во двор; свой порядок в доме блюли — жен на поруганные взгляды не выставляли; не чужие читали книги — свои!

— Нишкни! — воскликнул Петр. — Это кто ж «читал»?! Ты за кого говоришь?! Коли у тебя дядья да тетки в теремах да палатах были грамоте учены, то этих, — он кивнул на каторжан, — кто этих-то учил?! Для чего ж ты раньше, до меня, не выучил их хоть старые книжки читать?! Школу б для них поставил! Академию б открыл. Хоромы у твоей семьи богатые, для полсотни учеников места б хватило!

— Я б открыл, государь! Да ведь твои супостаты вмиг объявятся и повелят мне бесовской геометрии холопов учить, а не церковному сказу!

— Так ты б открыл поначалу школу, а уж потом бы против меня говорить начал, в тот самый час, как мои супостаты б пришли к тебе. Языком молоть все горазды, а ты б за русский дух делом против меня восстал!

— Нет такого права, чтоб школы открыть без твоего дозволения.

— Ну и плохо, — после паузы, несколько обескураженно ответил Петр. — Это ты по делу сказал, отменим ту букву закона, чтоб всякую безделицу у высшей власти выпрашивать! Да только, думается мне, коли б и не существовало этой нашей половецкой дури — лоб бить перед каждым, чтоб свое получить, — все равно ты бы лишь языком молот: дела бежишь — оно вчуже тебе, барину!

— Дай волю, открою школу в Тобольске, когда в ссылку дойду.

— И геометрии станешь учить?

— Все тленом будет, и ты станешь им, государь, науки эти твои заморские — антихристово наваждение — сделаются тленом, исчезнут с нашей земли, памяти по ним не будет.

— Да ну?!

— Истый тебе крест!

— Как же ты без геометрии новые города намерен ставить? Как ты без сей бесовской науки мог бы Северную столицу возвести?

— А я не возвожу ее. Мы ее не возводим. Ее французишки да немчура возводят.

— Наш Господь, Урусов, не только сам учил, но и учился.

— Так он же у своих учился.

— А коли у нас своих нету? — спросил Петр устало. — Тогда что?

— Значит, и не надо — каждому отмечено от Господа свое!

— А где же русским людям жить? — спросил Петр.

— Где спокон веку жили: в наших селениях, в тихих да светлых деревнях! Только тебе память по нашей святой старине незнакома, государь!

— Да плакал ли ты слезами счастья хоть раз, сидя у слюдяного оконца, раскрашенного первым ноябрьским инеем?! Сердце твое разрывало тоскою по деревушкам в сосновых борах, когда утром дымы в темном небе белыми кажутся и хлебом пахнет, а ты, проживаячи по делам государевой надобности в славном городе Аахене, где родной печи нет и люди чужие, от тоски исходишь? Это знакомо тебе?! Нет, тебе бездельная лень боярская угодна, чтоб на тебя все окрест гнули спину, а ты бы в ухе пальцем ковырял да на юродивых смеялся! Я, российский государь, землю нашу знаю и сердцем ей предан, но, чтобы ее со стариною первозданной сохранить, мне города-крепости у морей потребны, дураку не ясно!

— Ты нас дурнями всех полагаешь, — словно бы не слыша государевых слов, гнул свое Урусов, цепляя лишь зыбкую форму того, что говорил собеседник, но никак не вникая в смысл, в душу мысли. — Коли любил бы ты нашего человека, разве б посмел немцам повелеть подушную опись каждого из нас составить, всех, будто скот, оклеймить и расписать по губерниям, похерив тем нашу вечную свободу?!

— Это ты под игом был два века свободен? Это ты под Лживым Дмитрием и его поляками был свободен? Это ты под Шуйским свободой надышался?! Коли и был у нас Новгород вольным — с Ганзой и Амстердамом повязанный торжищами, — так ведь во прах сами же его и обратили, за то самое дело, что и поныне тебе столь ненавистно! Тьфу! Слеп ты и глух — оттого что дурень!

Урусов снова запел что-то свое, понять его становилось все труднее и труднее. Петр решил было задуманное в гавани утром еще отменить, но, взглядываясь в ждущие лица каторжан, скованных с Урусовым одной цепью, сказал Суворову, давно уже стоявшему за его спиной:

— Пусть фельдъегерь раскладывает.

И зная, что сейчас происходит за его спиной, Петр обратился не столько к Урусову, сколько к остальным каторжанам:

— В сердце моем не токмо одна жестокая справедливость живет, но и сострадание к человеку. Путь тебе, Урусов, предстоит долгий. Своей императорской милостью я даю тебе право не в нагольном тулупе идти в Тобольскую крепость и не в колодках, а по-людски. Выбирай — в дар от меня — сукно на дорогу да обувь.

— Себе одному не возьму, — ответил Урусов плачуще. — Мы, каторжники, единым миром мазаны.

— Молодец, — согласился Петр, — молодец, Урусов. Остальным тоже дадут. Что ты поначалу выберешь, то и остальные получат. Начинай.

Петр обернулся к Суворову. Тот стоял рядом с фельдъегерем, маленький, стремительный, носатый, задумчиво потирая замерзшими тонкими пальцами свой пушистый мягкий ус. У его ног на большом куске фланели лежали меховые башмаки, тяжелое сукно,

фризовые рубахи (такие же, как и на государе, но не красные, а темно-синие), легонькие меховые безрукавки из желтой овчины; рядом лежал отрез тонкого ливерпульского сукна, взятый утром в гавани; разложены были и меховые тулупчики, только работы грубой и размером поболее.

Урусов, поклонившись государю, кивнул на то, что было лучшим, — на ливерпульское тонкое сукно.

— Для чего же толстое сукно не берешь? — спросил Петр, ткнув палку в не гнувшийся на морозе, словно бы картонный отрез.

— Коли теплый да тонкий взять нельзя, то и за толстое сукно низкое спасибо, — смиренно ответил Урусов, — из него порты пошью, как-никак смена будет.

Петр — без взмаха, в слепой ярости, стремительно — перетянул Урусова своей палкой по короткому туловищу; голос задрожал, лицо побагровело:

— Ты отчего же аглицкой мануфактуры выбрал матерьял, сукин сын?! А что ж наше не взял?! Отчего от родимого рыло отворотил, а заморское выбрал?! А я хочу, чтоб это заморское русским сделалось! И чтоб мужик не пудовые шальвары из нашего сукна сшил, а такие, коим ни снег, ни дождь не страшны! «Петр, антихрист, хочет русских в аглицкий заклад отдать!» — передразнил государь Урусова и снова перетянул его палкой.

Плюнувши под ноги, отвернувшись, пошел через плац; возле шлагбаума спросил фельдъегеря:

— Остальные, что в упряжке с ним, — кто?

— Тати, государь!

Петр хотел было что-то еще сказать, да не стал, махнув рукою, заторопился к повозке.

Суворов, незнамо каким путем, сидел уж на козлах, хорохористый и неприступный, лениво сдерживая коней.

3

На верфь Петр не поехал — знал, там сегодня отменно работают, потому как намеренно застращал лентяев, нагрянувши раньше времени, — теперь хватит пороку дня на три, потом снова надобно заявиться...

А в Сенат сейчас самое время, шесть уж часов, скоро пушка ударит; господа правители, видно, уж расселись по своим коллегиям, делают сумрачные лица; запалили, видно, канделябры; ассистенты им перья точат; у всех в жизни свой отсчет, а когда привычки известны — отсчет не так уж труден: как не был государь в Сенате пять дней кряду, жди, к шести явится; служивые умеют высчитывать будущее по-своему.

Вдруг Петр повелел Суворову осадить коней, выскочил из легкой — русской работы — двуколки (предмет особой гордости Петра) и, неслышно догнав невысокого, в желто-синих толстых шерстяных чулках голландского шкипера (издали еще определил по круглому голубому помпончику на красной шапке), опустил тяжелые руки на его плечи:

— Как живется тебе в Питербурхе, мастер Ен?

Тот обернулся, не сразу, видно, осознав, что этот великан в белых холщовых штанах, бордовой куртке, поверх которой был натянут темнозеленый, штопанный у плеча камзол, — российский император; узнавши Петра, пыхнул теплым дымом из уютной трубочки-носогрейки, смешно округлил глаза и спросил:

— Перед тем как ответить, хочу спросить — падать ниц или можно вести себя с императором по-новому?

Петру не понравилась расчетливость, заложенная в вопросе мастера, приглашенного им в Россию уже на второй срок. Конечно, надо по-новому: лизоблюдства не терпит, но коль расчетливая, хоть и с долей юмора дерзость была произнесена, следовало отвечать.

И Петр — неожиданно для себя — приказал:

— Ниц!

Мастер Ен, испугавшись, но и удивившись одновременно, аккуратно опустился на деревянные доски тротуара, точно определив, где сухого снега намело за ночь и не было еще грязи; локотки ловко выставил перед собою, чтобы не замазать живот («В Амстердаме худой был, — подумал Петр, — на наших хлебах ожохла!»); лег, замер.

— Ну а теперь давай здороваться по-новому, — сказал Петр и сразу же ярко, в деталях вспомнил свой домик в Голландии и друзей, с которыми пил холодное пиво, окончивши дневную работу на верфи. — Поднимайся, я тебя к завтраку приглашаю.

И посадив мастера рядом с собою, Петр отправился к графу Толстому.

Тот словно бы знал заранее, что государь явится именно в этот час, и не один, а с гостем, легко хлопнул в ладоши, велел слуге накрывать стол, затем склонил голову перед оробевшим мастером Еном, который начал выделять такое дры-гоножество перед могучим вельможею, что Петр, подобрев лицом, погладил мастера по вспотевшей шее, принял из рук графа маленький стаканчик хлебного вина, настоящего на лютном перце, выпил медленно, смакуя, похвалил качество зелья, спросил, не малороссийское ли, сказал налить еще.

Проследив зорко за тем, как выпил мастер Ен, как от перца глаза его округлились, как он испугался кашлять и потому начал багроветь, пытаясь сдержаться, Петр, ударивши гостя по загривку, заметил:

— Я же сказал — по-новому, как после Голландии у нас стало. Кашляй!

Все-таки Ен кашлял с опаскою, и от этого ему становилось еще хуже, пока наконец Петр не гаркнул свирепо:

— Выкашляй по-людски! Не молоко с ципки пил — водку!

Затем, повелев Толстому налить мастеру еще, посоветовал:

— Заедай, коль по-русски не можешь.

Толстой снисходительно улыбнулся:

— Так ведь они до того, как пить, зело откушивают. Это мы ее, сладеньку, на голодное брюхо берем, а лишь потом кашею перекладываем да гусиным салом.

— Да, мы водкою заключаем пиршество, — поняв Толстого, согласился мастер Ен. — Водка, на мой вкус, значительно слаще после еды.

— Водка всегда сладкая, — ответил Петр, начавший, видимо, терять интерес к мастеру Ену оттого, что в том проглядывала чрезмерная обстоятельность и несколько испуганное неестество, а когда человек хоть в чем-то несправедлив, пусть в самой даже малости, занятность его сводилась к нулю: государь исповедовал определенность во всем; недоговоренности избегал, поскольку, ежели надо было хитрить для пользы государева дела, обмозговывал хитрость загодя, относясь к ней в высшей мере серьезно, словно как к плану предстоящей баталии.

— Но, строго говоря, — заключил мастер Ен, искавший во всем абсолютной точности, — мы никого ни в чем не неволим, каждый может пить как до еды, так и после нее. Зачем человека принижать в малости?

— Хочешь сказать, что, мол, достаточно его принижают в большом? — хохотнул Петр, и мастеру Ену показалось, что усы герра Питера сделались острыми, как у громадного таракана.

...Гусь был обжарен отменно, таял во рту; каша сыпалась, шкварки, томленные вместе с нею в чугуна, сделали каждую крупинку крупной, отдельной.

Петр ел быстро, много, красиво. Ровные, крепкие зубы его обгрызали косточки так ловко, словно он только тем и занимался, как преподавал уроки хорошего тона боярскому юношеству, соромившемуся «выкушать» на людях. Петр вспомнил, как Ромодановский однажды рассказывал о тех двух боярских недорослях, что самозабвенно поднимали мужиков на бунт, стараясь зажечь в них ярость рассказами про государево повеление все тайное делать открытым, явным для всех — жен с собою водить на проклятые ассамблеи, есть на людях; то, что всегда раньше свершалось в уединении, дома, ныне кощунственно открыто всем — новая уступка чужеземцам, басурманам, папским лазутчикам.

«Я пытал их, — похохатывая, рассказывал глава Тайной канцелярии, — кто подговаривал такое говорить темным мужикам, они же ответствовали в слезах и столах, что это кровь говорит и преданность предкам и никто подговорить к оному не в силах, да и нужды нет — весь народ так же думает».

Петр вспомнил, как Нарышкина (семейство, он знал, его кляло, лишь двое молодых защищали, считая, что сам государь — русский человек, не антихрист, только «немцы им, бедолагою, крутят») распускала слух по столице, будто во время молитвы снизошел к ней, к Нарышкиной, старец Тимофей Архипыч и отдал ей свою бороду: «Покуда хранить ее будешь, счастье с тобою останется». Нарышкина, рассказывают, упала в беспамятстве, а когда откачали ее, принялась баба-дура всем рассказывать, что-де в молитве своей она сетовала Всевышнему на то, как Петр, продавши душу иноверцам, позорит русских женщин, заставляя их открывать лицо на обозрение всем и терема покидать, а мужчин лишил главного русского украшения — бороды, стали словно бабы, как голомордым из дому выйти всем на позор?! Мужичья морда без бороды на задницу похожа! И нет ведь на антихриста управы, сетовала Нарышкина, а всё оттого, что в слове «император» сокрыты числа и буквы антихристовы: кто бы стал слово русское «царь» менять на римское «император», как не сатана?!

«Знамение всему этому давно было, когда Петр еще младенцем был, — причитала Нарышкина. („Мужик у ей хлипкий, оттого и кликушествует“, — хихикнул было Ромодановский, слушая рассказ государя, но, заметивши, как враз посинели зрачки и дернулась щека, оборвал себя, поняв, что сдуру не туда попал.) — Мать его грешница, оттого и ирод!»

...Петр до сих пор отчетливо, до ужаса, помнил, как побелело лицо матушки, когда он, младенцем еще, во время приема послов" разбаловавшись (надоело стоять букою, пока бородатые дядьки бились лбами об пол), побежал вдруг по залу, стукнул ладошками в дверь, половинки ее распахнулись, и послы увидели женщину, стоявшую на коленях.

Мать-царица наблюдала за младшим сыном, глядя в замочную скважину, опасаясь, как бы Софьины бояре именно здесь, во время приема, когда пятилетний мальчик был без материнского ежеминутного попечения, не дали бы ему какую чарку — "так, мол, при делах посольских полагается", — а в ней зелье, что изводит младенца: всякие зелья умеют делать при государственных дворах, как же без этого, — зелье да плаха, лишь это открывает одному путь вверх, а другого сводит в беспамятное бесславие. Главное — извести, покойник свою правоту не докажет, за покойника говорят враги, а те знают, что сказать...

...Тогда, сорок семь лет назад, иностранцы впервые увидели лицо русской царицы открытым, и случилось это потому лишь, что того пожелал — волею ль, невольно — пятилетний всея Руси государь Петр Алексеевич.

"А ведь кликуша-то Нарышкина, — горестно подумал Петр, — какая-никакая, а чуть что не родня, чего ж тогда от других ждать?! Не может мне до сей поры простить, как несмышленишем ладошками двери открыл и лицо матери чужие увидели!"

— Мастер Ен, скажи-ка на милость, сколько людей ты считаешь своей родней? — неожиданно спросил Петр, принимаясь за крыло гуся, словно бы замерзшее — так оно было пупыристо, покрыто поджаристой кожицей.

— Жена и дети, герр Питер, — ответил Ен, не задумавшись (впервые за те минуты, что встретил императора), — вопрос, видимо, показался ему прямым, без подвоха: какой тут подвох, коли про родных?!

— Ну а отец с матерью? — поинтересовался Петр.

— Женившись, уходят от них... Своя семья, свой дом; ведь если два хозяина, тогда война...

— А двоюродная тетка по матери тебе кто?

— Не знаю. Я просто не знаю ее, герр Питер.

— А если б знал?

— Я б, конечно, здоровался с ней при встрече, — ответил мастер Ен, — и на Рождество дарил бы ей розовую ленточку.

— Ясно? — устало спросил Петр Толстого; тот сразу же прочел в глазах государя желание и задержал взгляд на денщике, стоявшем у дверей, что вели во внутренние покои и кабинет.

Тот подошел к мастеру Ену и, склонив голову в поклоне, сказал:

— Я покажу мастеру Ену корабельную библиотеку, государь, коли разрешите.

— Чего ж не разрешить? — согласился Петр. — Покажи.

И, порывшись в карманах, достал серебряный рубль, только что отчеканенный на монетном дворе:

— Держи, мастер Ен, от меня за добрую службу.

...Когда дверь за шкипером затворилась, Петр сумрачно хмыкнул:

— Экому политесу своих людей обучил, а?! "Корабельная библиотека!" — передразнил он денщика. — Забыл небось, как в ногах у меня валялся, когда я тебя — в прошлом веке еще — за границу в путешествие гнал, уму-разуму учиться?

— Помню, — ответил Толстой с достоинством. — Потому я верен тебе как пес.

— Ты мне как человек будь верен.

— Собака верней.

— Эк стал горазд свое гнуть! Не иначе как у вольнодумных западных басурман научился вступать в спор, истину отыскивая?! Хоть с Господом Богом спорь, молодец, потому как истина всего дороже, и государеву делу от нее навар гуще, чем от нашего рабьего согласия! — вздохнул Петр и передразнил того прежнего, еще молодого, Толстого: — "Не позволяй, государь ты мой батюшка, в злые неверные страны-грязи мне ехать, не разреши заразы западные прикасаться, гноем ихним обмазаться, неверием черным захворать!"

Петр помнил, как ему после каждой приходившей из-за рубежа почты доносили о перемене настроения Толстого: тот выехал, проклявши заранее то, что ему надлежало увидеть в поганой, чужой, грязной Европе. Однако после первых двух писем из Польши (в коих Петр Андреевич сокрушался о том, что он видит в Вене) настроение его переменялось, а в Венеции просто понравилось ему — порядок и красота, и люди не водку пьют, а шоколад, и одеты удобно для движения, а в Риме все друг дружке улыбаются куда как более чем бранятся и легко вступают в разговоры, и свободно входят во дворцы, где заседают коллегии юстиции и коммерции, и никто им путь не преграждает, и дамы отменно хороши оттого, что света в них много, солнечно.

Потом Толстой писать перестал, нанял себе учителей — а ему уж тогда пятьдесят стало — и принялся за изучение италийского и французского языков; выучил легко, отказался от толмача; в Италии вельможи потрясались достоинством, юмором и умом доверенного петровского посланника...

...Покончив с гусем, Петр выпил еще одну рюмку, но тяжелый блеск его глаз был по-прежнему тревожен, хотя государь казался спокойным, и лишь тот, кто знал его много лет, мог заметить, что каждый мускул сильного лица, хоть и несколько одутловатого сегодня, с тяжелыми брыльями, собран воедино огромным напряжением воли. Отпусти себя Петр, позволяй на миг взыграть чему-то тому, что изнутри тяготило его, щеку враз перекосит, глаз поползет вбок, лицо сделается испуганным, как у младенца, — зови дохтуров, приступ!

Раньше, до середины ноября, Екатерина была лучше любого лекаря; положит прыгающее лицо мужа на грудь себе, начнет гладить лоб и щеку мягкой большой рукою; поцелует вихрастый (хоть и с наметившейся проплешиной) затылок, и Петр затихнет, страданий и судорог не будет боле — уснет.

Теперь, однако, после того как Толстой и Остерман с трудом отговорили Петра от того, чтобы казнить августейшую супругу, — на следующий день после того, как был обезглавлен ее камергер, кавалер Виллим Монс, — император избегал бывать во дворце: Екатерина приглашалась лишь на официальные выезды, и Петр до того с нею был учтив и рассеян, что ясно было каждому: дни государыни сочтены.

Впрочем, что поражало самых близких Петру людей, чухонка держалась достойно, ни в чем перемены своего положения никому замечать не позволяла, — беззаботная улыбка не сходила с мягкого лица; участливость ее ко всем была прежней; оставалось только диву даваться: откуда столь высокий государственный ум в этой бабенке, подобранной светлейшим князем на улице в часы дымного упоения победой над грозным северным соседом.

"Только бы удержать ее; никого б не казнили, страх не нагоняло б ежечасный, — подумал вдруг Толстой, наблюдая, как Петр нетерпеливо, а оттого грубо резал окорок. — И нас как-никак пока слушает, не одного лишь Меншикова, и ум у ей скорый, а лицом и глазами так и вовсе словно б урожденная императрица".

Толстой не уследил за собою, дал волю фантазии, ужаснулся своей этой мысли, а оттого, словно бы от удара, откинулся на спинку высокого стула с витыми, голландской работы львино-мордастыми ножками.

— Ты что? — спросил Петр, будто бы угадав ужасную мысль Толстого. — А?

— Размышления всяческие сами по себе в голове шелобродят, — неожиданно для самого себя ответил Толстой полуправдою. — Дьявол в каждом сокрыт, и не всегда Бог над нами сильнее.

— А ты молись чаще, — посоветовал Петр, и странная улыбка на какое-то мгновение смягчила его лицо. — Молись, мин фрейнд!

...Граф Пушкин намеренно рассказывал Толстому, что когда Петр — по доносу мил друга генерал-прокурора Ягужинского — нежданно-негаданно вернулся из Шлиссельбурга во дворец, сказавши перед этим, что будет лишь через два дня, и застал в уединенном месте августейшую супругу в обществе своего любимца, кавалера и камергера Вилли-ма Монса, а сестрица его, генеральша Балхша, сидела возле дверей, при карауле, да не укараулила, стерва, Петр, хрястко взявши за уши жену — вроде бы ласкал, — приблизил к ней свое белое, враз ставшее старческим лицо и сказал:

— Ну, молись, мин фрейнд!

На что государыня спокойно, но только шепотом ответила:

— По принуждению можно делать все что угодно, только не молитву, тем более что, по-моему, ухо вами наполовину оторвано.

Петр разжал пальцы, отошел к камину, опустил на маленький стульчик, где только что сидел кавалер Виллим Монс, и словно окаменел.

Так продолжалось долго; Екатерина не смела шелохнуться; шершавили минуты аглицкие часы, медленно отзванивали свое, отскрипывали, и снова ужасающая тишина давила залу, давила все, что было в ней, даже столик, казалось, делался шатким, вот-вот ножки хрястнут, посыплются, не удержат саксонского голубого фарфора статуэтку, — счастливый супруг с супругою, а вокруг херувимчики с детишками играют.

Облегченное освобождение от этой тяжести наступило, лишь когда Петр, словно бы сорвавшись, вскочил со стульчика, подбежал к окну, забранному тончайшим венецианским стеклом с сине-красно-желтым рисунком, и с размаху шлепнул ладонью по этой диковинной, чужеземной, сработанной итальянским мастером красоте. Стекло обсыпалось на пол белою искристой пылью, ни красного, ни желтого, ни синего цвета не было уже, одно слово — осколки; ладонь государя окровавилась; он переметнулся ко второму окну, что выходило в залу, где собирались придворные, и, не в силах удержать начавшейся пляски лица, крикнул, как выдохнул:

— И это в пыль превращу!..

Не поднимаясь с кресла, бледная до синевы, Екатерина ответила обычным мягким своим голосом:

— Стоит ли красоту превращать в пыль, государь? Куда как нравственнее пыль обратить красотой. Именно это угодно просвещенному гению.

...С тех пор государь не был в покоях Екатерины ни разу — полтора этих долгих месяца...

— Скажи-ка, мин фрейнд, — откушав окороку, обратился Петр к Толстому, — ежели со стороны смотреть, гораздо ли старше своих лет я ноне выгляжу?

— Моложе.

— Зачем лжешь?!

— А почему не веришь? — в тон Петру гневно возразил Толстой. — Если бы ты бородат был, патлат, в халате до пола, рукава до колен, тогда одно дело — дед, а коли ты словно молодой одет, брит, неряшлив, как истинный голландский шкипер, то не гляди, что плешив в малости и щеки будто у аглицкого пса пообвисли, — все одно моложе своих лет!

— Эх мед льет, хитрый фукс, — усмехнулся Петр. — В Венеции, что ль, при Дворце дожей, хитрости и лести Борджиевой выучился?

Толстой помнил, как его поразила Венеция: письма его оттуда были полны восторга.

Петр сразу же отличил, когда хвалили чужеземное, абы похвалить, чтоб ему сделать приятное и таким образом выслужиться, от того, когда говорили искренне. Ему было приятно, если бранили заграничное, — но по делу, не от тупого отрицания чужого, а оттого, что разобрались в существе дела и поняли, как у себя можно лучше и надежней сообразить.

Людей, которые считали, что он преклоняется перед западными мастерами оттого лишь, что они западные, Петр почитал дураками.

То, как Толстой понял Италию, свидетельствовало о его недюжинном уме и широте взгляда.

А ему надобно было делом доказать свою нужность новому государю, ибо за границу он уехал вскоре после подавления стрелецкого бунта, и он знал, что Петру известно о его близости к повергнутой Софье. Лишь одно могло убедить государя в необходимости сохранить ему жизнь, ежели не свободу, — знание. И Толстой доказал свое умение постигать сокровенное, заставив итальянцев восхищаться его талантом политика и филолога.

Потом Толстой не раз доказывал Петру свою нужность: и в Порте, понудив Константинополь к миру, и в критические дни после бегства царевича, когда он выманил его в Россию и чуть ли не самолично провел дознание, и в делах с послами, аккредитованными в столице, и в переговорах со шведами. Доказал, а оттого сделался постылым любимцем.

...К удивлению Толстого, государь налил себе еще одну рюмку (вообще-то день его был — это восхищало Толстого — расписан по минутам, столь же тщательно было расписано и меню), выпил и, крикнувши, спросил:

— Посланник Виктор де Лю знаком тебе?

— Недавно еще прибыл, приглядываюсь.

— Хорошо ли приглядываешься?

— По мере сил.

— Ну-ну, — отозвался Петр. — Это отменно, коли по мере сил. Они у тебя немалые, а уж про ум и говорить нечего. Скажи, чтоб послали за де Лю, и перо с бумагою принеси, а я пока трубку набью и возле твоего очага погреюсь, коли разрешишь: надобно рукопись прочесть, до сих пор не поломал я нашу страсть вместо одного слова писать двадцать, и все всуе, абы форму соблюсти. Сие не просто гневит меня, а ставит в тупик. Как быть дальше — не знаю... Кстати, верно ли мне донесли, что ты в коллегия отписал рескрипт, дабы бить кнутом тех молодцов, кои, будучи отправлены на учебу в Лондон, Рим, Амстердам и Тулон, сыскали там, отдыха ради, по бабенке?

— Поди разберись, отдыху ли ради, — ответил Толстой. — А коли завертит нашего молодца чужая баба?

— Ни одна иноземная баба русского не перекрутит! Это уж мне поверь! Прежде он ее в доску загонит и своим кутенком сделает. Баба, коли ее мужик пройма, словно воск, и не наш балбес — как вы все тайно страшитесь — католичество примет, а, наоборот, тамошний бабец попросится в православие. Горько мне видеть, что ты начал боярской давлению поддаваться, кровным смешением себя пугать и тем, что, мол, духовная зараза у бусурман сильна до крайности. Коли дома — здорово и дело каждому есть, духовная зараза к русскому человеку не пристанет. А поскольку мы все паки о чести своей радеем, то помни: коли

нашим недорослям пока и есть чем за границую гордость свою выказывать, так вот этим! — Петр сделал рукой столь выразительный жест, что Толстой, расхохотавшись, вынул платочек, отер глаза, пообещал:

— Отзову свой рескрипт, пушай себе господа студенты обращают по ночам чужеземок в подруг православия, а значит, и державы Российской. Но днем наши сукины дети обязаны постигать науки: коли неучами вернутся — буду бить кнутом.

— С этим согласен. А то обидно: ты небось понял, как мастер Ен нам с тобою аршин загнал, отметивши, что у них каждый и в мелочи волен по-своему жить, — до гуся ли ему водку пить али позже — какая разница! А у нас словес разводят по пустому поводу столько, что голову ломит! О чем радеем? Что отвергаем? С чем согласны? Понять нас, когда все вместе мыслим, нельзя, а поодиночке — до сей поры страшимся, все скопом норовим... Ну, ступай, мин фрейнд, один хочу побыть.

Толстой вышел неслышно, а Петр, усевшись в низкое кресло, бросил в камин поленце, которое сразу же запузырилось бело-синим пламенем (угли держали в очаге постоянно, подкладывая сухой березняк, ибо знали любовь царя к теплу и яростную нетерпеливость, — пока разведут огонь, изойдет весь, страх как не может человек ждать; захотел — вмиг подавай, и все тут!). Тепло сделалось близким, а посему — ласковым, своим, бабьим. Петр достал из кармана типографскую верстку, разложил на коленках "Юности честное зеркало"; умным нравилось, особенно в той части, где Петр требовал от родителей учить детей улыбочности и предупредительности: "Как словно волки живем, на всякого скалимся, доброго слова не скажем, рываем да "нельзяем", а ведь нет народа добрее и покладистей, чем наш, зачем же себя позорим в глазах иноземцев, которые во внешней воспитанности поднаторели?!"

...Посланник де Лю оказался человеком молодым еще, крепкого кроя, низкорослым; пальцы его были коротки и ухватисты — легко и, видимо, быстро собирались в кулак; шея коротка; голова словно у боксера, даже нос перешиблен (готовясь к встрече с посланником загодя, Петр затребовал у Иностранной коллегии все данные, собранные на этого человека; значилось, что в юные годы работал толмачом в Лондоне при своем посольстве; значит, как и юные русские, отправленные туда на учебу, не мог не увлечься боксированием).

Посланник сделал поклон с растанцовкой, грациозно, но при этом казалось, то ли норовит уйти от удара незримого противника, то ли, наоборот, готовится нанести свой; галантности мало, боксерского бойцовства — чересчур; английский штиль, ничего не подделаешь.

Петр, не поднявшись с кресла, шаркнул левой ботфортой, что означало ответное приветствие, и кивком пригласил посланника сесть рядом.

Тот, поняв, отвечал обязательным в таких случаях отказом:

— Не смею. Ваше Величество... В вашем присутствии...

Петр зевнул:

— Мин зюсе, садись, коли приглашаю.

Виктор де Лю снова потанцевал на толстовском узорном паркете, выражая этим высшую степень благодарности, а затем не то что присел, а как-то акробатически прислонился краешком задницы к атласному креслу, что было по правую руку от любимого государева кресла.

— Ну, как живется-может в нашей Северной столице? — сонно поинтересовался Петр.

— Я восхищен той огромной работой, которая поразительна и восхищает всякого...

— Восхищает? А чем? — спросил Петр и чуть заметным взмахом руки повелел графу Толстому и денщику Василию Суворову выйти из зала.

— Город, поднимающийся на глазах, уже сейчас обретает черты столицы, равной по мощи разве что одному лишь Лондону. Одна широта припектов и величие набережных делают Петербург совершенно особым, не виданным ранее в Европе местом.

— Ишь, — усмехнулся Петр, — поднаторел ты, мин либер, в точности посольских словечек; послушать тебя, так у нас и прорех никаких нет, и мужик счастлив, и жулье вывелось — одно благоденствие.

— Все невзгоды, кои не могут не сопутствовать такому великому периоду, тревожат сердце просвещенного монарха, а посему будут преодолены в кратчайший срок.

— Не будут, — отрезал Петр. — В кратчайший срок не будут. Зачем лжешь? Протокол протоколом, а коль метишь в министры — а ты обязан в одного метить, де Лю, — не ври в глаза, не выдавай за действительное то, чего каждый монарх желает своей державе. Мелюзгой тебя станут твои же вельможи считать, а похуже того — трусом...

Виктор де Лю погасил в себе остро вспыхнувшее чувство обиды, потому что русский варвар при всей его грубости сказал вещи верные: и в министры посланник метил, полагая свою работу в Петербурге единственно надежной дорогой в правительственный кабинет, и клял себя (особенно утром, перед началом работы) за трусость и малость, до боли завидуя тому, как полномочные послы Кампредон и Ле Форт разговаривали на вечерних ассамблеях с министрами Петра: чуть ли не на равных, открыто высказывая критические мнения, а прусский чрезвычайный посол Мардефельд позволял себе (до ноября, пока Меншиков не был отстранен от дел и уволен в жесточайшую опалу) бесстрашно спорить со светлейшим едва ли не по всем аспектам внутривнутриполитического положения империи.

Наблюдая себя со стороны, де Лю пришел к выводу, что трусость есть качество врожденное. Смелость, считал он, а особенно смелость слова, нарабатывается не годом и не жизнью, а поколениями, родословной, говоря точнее...

Отец с трудом выбился в люди, сына учил осторожности, не подталкивал к великому, а, наоборот, советовал делать ставку на то, чтобы удержать накопленное, пусть даже малое.

...Петр задумчиво достал из одного из своих бесчисленных засаленных карманов пакет, увидев который де Лю побелел лицом.

— Мин либер, прочти-ка мне свое послание вслух, а?

Де Лю взял протянутые ему государем бумаги, откашлялся и, ужасаясь себе самому (но в самой глубине души восхищаясь), отчеканил:

— Ваше Императорское Величество, тайна переписки посланника со своим государем охраняется международным правом, и я не могу не протестовать противу того, что мое донесение стало известным третьему лицу.

— Я не лицо, де Лю! Я — государь всея Руси! Читай!

— Не стану!

— Ноздри вырву — станешь! — Лицо Петра перекосило яростью.

Де Лю закрыл глаза и обреченно покачал головой:

— Не буду.

— Ну, это хорошо, первый экзамен ты выдержал, — удовлетворенно заметил Петр. — А теперь смотри выгоду свою не пропусти, главную выгоду. И не вздумай листки в камин бросить, — я не посмотрю, что император, выгребу с угольев, — хоть копия с твоего поганого донесения у меня уж хранится в архиве. А что касаясь тайны переписки, то я охраняю ее, мин либер, охраняю сугубо требовательно. Только вот на несчастье суда нету: разбойники позавчера напали на почту, перебивши охрану, — искали денег. Сегодня поутру мои солдаты настигли супостатов; прислали ко мне гонца, тот, огорченный происшедшим, тотчас передал мне письмо, вскрытое разбойниками. Так что не подумай дурного: случай — он и есть случай, куда ни крути. Читай, — миролюбиво заключил Петр, — дело поправимое, только читай, мне твой голос хочется послушать — я в нем для себя намерен главное выяснить, к твоей же, повторяю, пользе.

Де Лю долго откашливался, думая отказать государю, а затем — неожиданно для самого себя — начал читать:

— "Сир! События в Петербурге заслуживают того, чтобы быть описанными самым подробным образом. Мое ноябрьское донесение Вашему Величеству не включало — и не могло еще включать — сообщение о том, что потрясло Северную столицу. Свершилось

падение двух фаворитов Петра. Светлейший князь Меншиков был отправлен в опалу, якобы за хищения, и казнен камергер императрицы, кавалер Виллим Монс. Судьба этого человека — брата первой фаворитки государя Анны Монс — поразительна, как, впрочем, и все происходящее при здешнем дворе. Во время битвы под Полтавой Виллим Монс был адъютантом Бо-ура и за отвагу, проявленную на поле брани, удостоился чести стать адъютантом государя. Через пять лет он был переведен камер-юнкером ко двору императрицы и с тех пор сделался персоною, весьма близкою к августейшей семье. Петр высоко ценил блестящий ум кавалера, его отвагу, красоту и знания. Однако же государыня, как оказалось, ценила в Монсе не только поименованные качества, но и другие, для нее, видимо, главные. Об этом — как выяснилось теперь — шептались при дворе, однако государь был глух к такого рода слухам, целиком доверяясь своей августейшей половине. Гром грянул в ночь на девятое ноября. Говорят, что гнев Петра был столь ужасен, что когда он явился лично выпрашивать Монса, тот не смог ничего сказать, лишившись чувства от страха. В карманах камзола Монса были обнаружены два чудных портрета государыни в бриллиантовой осыпи и стихи, написанные рукою несчастного кавалера: "Любовь — моя погибель; в сердце моем страсть, и она станет причиной моего конца, ибо я дерзнул полюбить ту, которую мог только уважать!..""

— Строчка пропущена, — заметил Петр. — В русском переводе ты строчку упустил: "Даст махт их либен воллен". Сам небось перевод делал? Или от моих господ вельмож готовый получил?

— Я сделал перевод сам, государь.

— Плохо врешь, — убежденно сказал Петр. — Ну да бог с тобой, читай дальше.

— Увольте, Ваше Императорское Величество.

— Я кому сказал, мин либер?! — не открывая глаз, сказал Петр.

— "Сказывают, — медленно, как бы преодолевая себя, продолжал де Лю, — что после того, как Монсу был вынесен смертный вердикт, Его Императорское Величество поехал в острог и, по обычаю своему, взявши смертника за уши, приблизил его лицо к себе и сказал на родном языке кавалера: "Мне жаль тебя лишиться, но иначе быть не может"".

— Неверно тебе донесли. Я сказал господину кавалеру Монсу, что и пес хозяйскую руку не кусает, понеже не годится такое человеку вытворять. Дальше!

— "После того как Монс спустя неделю был казнен, — продолжал свое мучительное чтение посланник, — и голову его воткнули на кол посреди площади, Петр, посадивши августейшую свою половину в коляску, повез ее мимо окровавленного трупа, близко заглядывая при этом в глаза государыни..."

Через неделю Петр повелел заспиртовать голову Монса и, сказывают, установил ее в опочивальне венценосной половины, запретив выносить оттуда до особого на то распоряжения.

Вскоро после этого государь провел тайные советы со своими ближайшими помощниками; уволил в опалу Меншикова и, сказывают, начал готовить ряд перемещений в кабинете, дабы привести к управлению не столько представителей ныне уже знаменитых семей, сколько простолюдинов, обученных и проверенных им в ратных и строительных делах. Симпатии государя к этого рода работникам, никому ранее не ведомым, делаются очевидными чем дальше, тем больше.

В случае такого рода поворота следует ждать новых реформ, дающих еще больше свобод внутри державы, особенно тем, кто имеет страсть к делу, будь то флотостроение, торговля, металлургия или же создание аптек и клиник, коих пока еще мало в России...

Можно было б ждать новостей уже в начале ген-варя этого, нового, 1725 года, однако ж государь, сказывают, усугубил свою осеннюю хворобу, простудившись шестого числа на церемонии водосвятия во время праздника Крещения..."

— Мин либер, — прервал посланника Петр, — сегодня у нас девятое, а я и не думал студиться, — как видишь, в полном здравии. Кто тебе об этом донес?

— Кричали на папертях, Ваше Императорское Величество, — ведь я в русские церкви тоже хожу вместе с моим помощником Фридрихом Файном.

— Юродивые ныли?

— Нет, говорили в толпе: мастеровые, капитаны, торговцы.

— Таким образом, ты хочешь упредить мой следующий вопрос про то, что к тебе поздним вечером на подворье с новостью о моей простуде никто из посланцев от господ вельмож тайно не приходил?

— Готов поклясться.

— Иди к столу... Перо там тебе приуготовлено, бумага тоже, устраивайся и пиши новый рапорт своему великому князю, — я самолично стану диктовать. Пиши, пиши! Я ж не зря говорю — к выгоде твоей случилось разбойное дело. А то, что я продиктую, разнесешь коллегам — парижскому Кампредону сообщишь доверительно, и саксонцу Ле Форту, — пускай спорят и строят догадки, смеются — мое тебе будет за это благорасположение. Итак, пиши: "Сир! Во дворцовых кругах говорят, а граф Толстой с Ягужинским подтвердили мне, что Петр намерен провести ряд реформ в торговле и промышленности, дабы покончить со взятками и казнокрадством не буквою, по духом будущей российской жизни, в которой выгоднее и надежнее быть честным в тяжелой работе, но богатым зато, чем вором — в хитрованстве супротив законов да в лени. Для сего дела, сказывают, Петр ютов на всё. И верно, в ночь на девятое ноября прошлого году был схвачен его и государыни любимец кавалер Виллим Моне, причем был барабанный бой и солдаты клеили афиши, в коих сообщалось, что Моне с сестрою, генеральшею Балхшихою, за то заключены в каземат, что брали взятки. Через неделю с лишком был объявлен государев рескрипт: "Шестнадцатого числа сего ноября в десятом часу пополудни будет на Троицкой площади экзекуция бывшему камергеру Виллиму Монсу да сестре его Балхше, подьячему Егору Столетову, камер-лакею Ивану Балкиреву — за их плутовство такое, что Монс и сестра его, будучи при дворе Его Императорского Величества, вступили в дела, противные указам государя, и укрывали виновных плутов от облегчения их вин, и брали за это великие взятки..." Теперь тебе надобно дать подробности, мин либер, каковых никто из здешних коллег не знает. Допиши, что Монс за услугу, которая заключалась в том, чтоб протолкнуть через государевых помощников ту или иную просьбу, от кого шестерку лошадей брал, от кого — коляску; очень ценил атлас и опахала из Бэйцзина... Допиши, что Петр смилостивился над Балхшихою, когда та на площади слезою молила о пощаде, и повелел ей дать вместо десяти кнутов только пять — перед отправлением в Тобольск на вечное житие... Закончил?

— Да, Ваше Императорское Величество.

— За спиною ты меня не Величеством обзываешь, — усмехнулся Петр, — а бомбардиром... Я не в обиде... Только к бомбардиру не забывай слово "господин" приставлять, а то неуважительно звучит, словно о какой собаке речь идет, особливо такие клички в ходу у капитанов голландских торговых фрегатов, — те любят так называть волосатых своих черных псов. Добавь для куражу, что Петр повелел детей Матрены Балхши — камергеров и пажей императрицы — отдать в солдаты... Припиши и еще: мол, сказывают, что государыня — чистая, доверчивая душа — так была потрясена коварством своего камергера, что соизволила произнести фразу, разглядывая отсеченную голову Монса: "Как грустно, что у придворных так много еще низких испорченностей в натуре".

Петр замолчал надолго, словно забыв о посланнике, а потом закончил:

— А далее, де Лю, пиши то, что тебя в глазах великого князя подымет и откроет тебе путь вверх. Пиши так: "Коли получу от Вас, сир, дозволение, то смогу — благодаря наладившимся связям с приближенными русского государя, а особливо денщиками его Суворовым и Пospelовым, — обговорить заранее выгодные нам контракты на русское парусное полотно, которое ныне и лучше, и дешевле голландского стало, а с нашей стороны можно — с превеликой для нас пользою на будущее — отправить в Россию минералогов для поиска железных руд и углей, этого добра в громадном изобилии хранят недра страны варваров..." Пиши, пиши, не вздрагивай, мин либер! Что ты, право, как девица — слова

"варвар" пугаешься?! Какая тебе будет вера, коль мордою нас об стол не повозишь? Пиши: "...норов россиян таков, что коль идти к ним с добром и открыто объяснять свой резон и ожидаемую от одного выгоду, то они, переборов свой страх перед иноземцами, будут отменными партнерами в деле, не подведут; коли обманут — то в неразумной купеческой малости, но в главном лучше себе сделают убытки, чем тому, с кем ударили по рукам, ибо чувство собственного достоинства в них сильно до чрезвычайного..."

Петр снова замолчал, потом потухшим голосом заключил:

— Остальное сам сочини: о капризной погоде, о том, как Ле Форт пьяным напился у канцлера Головкина на ассамблее, да поторопи своего сира с ответом, ибо через неделю я еду в Ригу, осматривать гавань, а вернувшись — сделаю новые распоряжения державе, к коим вам надлежит быть готовыми.

— В течение двух-трех часов я напишу мое донесение заново, Ваше Императорское Величество, и отправлю его немедленно.

— А зачем еще раз переписывать? — удивился Петр. — Ты здесь про погоду, про то, как часто снег на дождь меняет, добавь пять строчек, я подожду, сам и отправлю, — моя ведь вина, что твое донесение вовремя не попало к великому князю.

Де Лю съежился, задумался над листом бумаги, потом отточил перо еще более и начал старательно и очень быстро писать.

Пять минут прошли в тишине.

Потом де Лю передал государю две страницы. Петр быстро пробежал их, кивнул:

— Молодец. Ступай, бог с тобой...

Ботфортою государь шаркать не стал, несмотря на то что посланник, сияя глазом, танцевал весь путь от стола до двери.

Как только гостя проводили к экипажу, в залу вошел Толстой.

— Подслушивал? — спросил Петр.

— Да уж не без этого.

— Отправь почту с чрезвычайной оказией.

— Снаряжу немедленно.

— И еще — даю тебе два дня сроку: вызнай, кто так рьяно печется о моем здоровье? Кому выгодно сделать меня хворым на радость Европе?

— Но ведь вы сами не делали тайны из того, что ездили пить олонекскую воду нынешним летом. Всем известно и то, как после коронации государыни императрицы вы изволили врачевать себя московскими минеральными водами.

— Врачевать?! Вздор! Водами лечиться нельзя, водами должно гадость из себя вымыть! Сие — профилактик! Корабль, чтоб сто лет служил, нуждается в постоянном осмотре; организм человеческий — в том же! Что ж не пеклись о моем здоровьи, когда я на глазах у всей Европы карлсбадские минеральные воды вливал в себя чуть что не ведрами, чередуя с пивом и кузнечными упражнениями в Бжезове?! Почему тогда никто о моем здоровьи не пекся? Ты-то сам мне только-только пел, что я крепок, как столб! Брюхо лишь временами дает о себе знать, да и то после ассамблей! Нет, кому-то очень хочется уложить меня в постель и попотчевать снадобьями и лекарствами... Каков резон? Кому на выгоду? Кому во вред? А? Толстой?

Тот ответил не сразу; долго смотрел на пламя в камине, потом спросил:

— Когда будем служивым в коллегиях жалованье выдавать, государь? Два года уже не платили.

— Они наворовали за эти два года на двадцать лет вперед!

— Кормить семью надо, ты не платишь, поневоле станешь плутовать.

— Головы им, бездельникам, сечь надо!

— Плати — тогда секи; позволяй — тогда требуй. А так ведь словно какая ржа ест государево дело.

— Отчекань денег — уплачу.

— Ты не у меня проси, ты у своих фабрикантов проси и купцов, пускай золотом заем дадут, всем они тебе обязаны, любимцы твои...

— Они — мне?! Нет! Мы им обязаны! Горе только, мало таких промышленных да торговых людей в государстве, страх живуч; думных да казенных крыс исстари все боятся, так и ждут, что приедет какой черт из столицы и почнет: "Нельзя, не велено, покажь бумагу, дай отчет, не позволю!"

Петр поднялся, подхватил палку, пошел прочь, не попрощавшись; у двери, не оборачивая головы, повторил:

— Сроку даю — два дня. Гусь был отменен, благодарю.

...Но уходил он отсюда не так, как раньше; песни старого дружества в его сердце не было с того самого дня, когда Толстой с Остерманом понудили его не казнить Екатерину.

Никакие доводы не могли поколебать Петра — он был намерен свершить возмездие через неделю-две после того, как улягутся разговоры о Монсе, однако же Толстой бросил ему в лицо страшное:

— Ну ладно, ну обида жжет, понимаю! Но тебе не тридцать уж и не сорок! Об детях подумай, государь! О Елисафет с Аннушкой! Кому отдашь престол? Детям шлюхи? Значит, снова после тебя придут боярские чумырла в своих халатах Россией править и на все, что ново, станут "нет" говорить твоим подданным! Неужели этого ты России желаешь?!

Слова Толстого сломили государя.

Он тогда сник, съежился, махнул рукою, отошел к окну, дабы господа вельможи не заметили слез, сверкнувших в уголках его огромных глаз.

Дружба с того дня кончилась, осталось лишь одно, но, видимо, главное: общее дело.

4

Хотя всю жизнь Даниелю Дефо приходилось заниматься зарубежными внешнеполитическими акциями, тянуло его тем не менее в сердцевину событий, поскольку ему казалось, что всё и всегда начинать надобно с Лондона; именно здесь, полагал он, следует придумать интригу, распространив ее на материковую Европу, Турцию, Персию и на новые территории, открытые португальцами за океаном.

Именно поэтому, получив в Адмиралтействе данные наблюдения за членом русской миссии Гаврилой Епифановым, который в отличие от своих коллег не очень-то посещал боксерские школы в Ист-Энде, пил умеренно, по лавкам не шастал, деньгу-де скупердяйничал, но зато каждый свободный день проводил в храмах, умно обсуждая с пастырями идею *доступности* веры, Дефо принял решение провести первую встречу с иноземцем.

Уже много лет Даниель Дефо (задолго до того, как опубликовал свою, как он шутил, "безделицу" о Робинзоне) по праву считался признанной звездой британской секретной службы. Поскольку в голове писателя рождались поразительные сюжеты книг, руководители внешнеполитического департамента никогда не обременяли его изучением проектов предстоящей работы; ему лишь излагали суть, обсуждали вероятия, ждали несколько месяцев, пока он писал, бражничал, увлекался очередной актрисой из труппы Королевского театра; затем, когда он *приступал*, внимательно следили за виртуозной работой своего любимца. Однажды, заметив за собой слежку, Дефо раздраженно спросил главу Адмиралтейства, кто ведает службой "близкого сыска". Сэр Дэниз понял его немедленно и ответил:

— Называйте кошку кошкой, дорогой Дани-ель. Из рапорта я уже узнал, что вы обнаружили за собою наблюдение, поэтому вас интересует не кто ведает службою, но отчего шеф службы санкционировал наблюдение за вами. Вы это хотели спросить?

Дефо медленно вытер чуть не жестяной — так накрахмалена — салфеткой свои толстые чувственные губы, отодвинул прибор, где не осталось ни кусочка пищи (он вытирал за собою тарелки коркой хлеба, ибо не терпел, когда яства оставались недоеденными, —

сказывалась жизнь в деревне, на севере, куда его вывозили на лето, ребенком еще, отдавая на попечение крестьянской семье Томпсонов), и заметил:

— Как писатель я должен был бы ответить вам ложью — в том смысле, что не замечал за собою никакой слежки и что мой интерес лежит совершенно в иной сфере, — но как разведчик я обязан говорить правду, и эта правда не может вам не быть неприятной: вы поняли меня верно.

— Даниель, за вами следили, следят и будут следить наши люди. Контроль обижает суетливых жуликов, которые — в силу своей малости — трусливы и недальновидны. Вы — глыба. Контроль нужен *механике* службы, ее, если хотите, заданности. Это первое. Вторых, за вами следят оттого, что вы лезете в пасть ко львам, а корректировать вас нецелесообразно, ибо вы можете обидеться и уехать к себе в Йоркшир, где вас ждет охота на лис, перо и бумага. И наконец, в-третьих, мы смотрим за вами для того, чтобы учить потомков виртуозности и уму на примере вашей вдохновенной службы короне. Вы удовлетворены ответом?

— Сначала откройте литературный колледж для юных Дефо, — усмехнулся писатель, — а потом готовьте курс лекций на основании данных слежки, собранных ближней службой наблюдения над Дефо-старым.

— Я могу открыть хоть пять колледжей, — ответил сэр Дэниз, — однако сие не поможет появлению нового Дефо, и это, увы, не комплимент, а суровая действительность. Появятся Кэмпбеллы со своими слабыми подражаниями Шекспиру, Ливерсы, которые тщатся писать сонеты, а выходят ублюдочные стенания графомана с хорошей памятью о детстве, литературные мокрицы типа Гилдона... Нет, мой друг, Бог наградил Британию одним-единственным Дефо, в этом наше счастье и несчастье одновременно... Вас знает мир, вы не нуждаетесь в похвалах венценосных ценителей, которые готовы — во имя интриги — вознести бездарь и замолчать гений...

— Вы считаете меня гением? — рассеянно поинтересовался Дефо, взглянув при этом на бутылку сухой мадеры.

— Пейте, пейте, — сказал сэр Дэниз, — слуга войдет, когда мы кончим деловую часть беседы, так что наливайте сами. А гением я вас действительно считаю, оттого что известность вы завоевали не саблей, не новым законом о наказаниях или, наоборот, заигрыванием с чернью, но пером. Человек, сам сделавший свое имя, гениален...

Дефо выпил мадеры, хмыкнул:

— Я могу передать ваши слова моим подругам?

— Им — можете; только эти слова далеко не уйдут: донесение ляжет на мой стол наутро после того, как вы пошепчете об этом потаскушкам после хорошего ужина в ресторанчике Чарли...

— Все-то вы про меня знаете, — вздохнул Дефо и так посмотрел на сэра Дэниза, что тот понял: "Ничего я о нем не знаю; только одно знаю, что верю, восхищаюсь им и люблю".

После того как сэр Дэниз попотчевал любимца Лондона шоколадом, угостил каким-то диковинным напитком из деревянного сосуда, подаренного ему португальским посланником, провожая уже Дефо к двери, подбросил:

— Мой друг, не согласились бы вы оказать услугу первому лорду и мне?

— Услуга — это добро; добро повышает настроение человека; хорошее настроение первого лорда сулит милости подданным, как же я могу отказать себе в наслаждении услужить соплеменникам?

— Такое согласие больше похоже на отказ...

— Для отказа, сэр, я употребляю лишь одно слово — "нет". Я к вашим услугам... Точнее, — Дефо улыбнулся, — услуге, как вы изволили заметить.

— Спасибо. Не согласились бы вы встретиться с русским послом? Он умен, осторожен, и разговаривать его можно лишь в тех сферах, которые существуют для того, чтобы скрыть сердцевину проблемы. Он будет рассказывать вам об охоте, полотняном производстве в Калуге, сибирских тайнах, эт сетера, эт сетера. А нас интересуют оппозиционные группы в

столице России, особенно Северной; в Москве у меня есть надежные информаторы. Нас очень интересует Россия, ибо с приходом Петра мир изменился, его держава перестала быть окраиной, он — факт европейской жизни, мне это не нравится: медведя надобно вернуть в берлогу.

— Вы думаете, это возможно?

— Думаю, да.

— А насколько это целесообразно?

— Пусть судят потомки; не согласятся — внесут коррективы...

Дефо вздохнул, покачал головой, заметил:

— Если русский посол не открывался вашим коллегам, почему вы думаете, что он откроется мне?

— Потому что вы — Дефо.

— Я Дефо для вас. Для него я ничто. Может быть, целесообразнее побеседовать и завязать отношения с кем-то из молодых его коллег? Я не совсем согласен с теми государственными мужами, которые делают ставку лишь на тех, кто состоялся. Меня как раз интересуют те, кто упрямо и алчно намерен состояться.

— "Алчное намерение состояться..." — повторил сэр Дэниз. — Страшно сказано... И не отделяйте вы, бога ради, нас, политиков, от себя. Я не знаю, кто из нас больший политик, ибо каждая ваша книга — это мир, живущий по законам, созданным вами, но восторгающим читателей, которые верят в их существование.

— Спасибо.

— За правду не благодарят.

— Я — благодарю.

...Епифанов оказался сухощавым блондином с острыми голубыми глазами; веки чуть припухлые, казавшиеся от этого треугольными; голос был певуч ("Вероятно, в детстве страдал заиканием", — подумал Дефо); улыбался внезапно открыто, отчего лицо его освещалось как бы изнутри, обретая черты юношеские, ломкие, в чем-то обидчивые даже.

Обменявшись первыми фразами, Дефо поразился тому, что московитяне обладают поразительным даром улавливать чужой язык, особенно в его музыкальном выражении; не зная, что собеседник — русский, никто в Лондоне не смог бы угадать в Епифанове иностранца: *чесал* словно коренной англичанин; впрочем, можно было допустить порок по материнской линии — то ли скандинавский слышался акцент, то ли гамбургский, но никак не славянский.

— После великого Петра, которого я имел честь и восхищение видеть в Лондоне, — сказал Дефо, когда обязательные слова были проговорены и настало время второй, вводящей в суть дела фразы разговора, — вы первый русский, с которым я встречаюсь с глазу на глаз.

— А я впервые встречаюсь со знаменитым газетчиком.

Беседовал Дефо с Епифановым в маленьком ресторанчике Чарли "Олд Питер", неподалеку от гавани; сейчас еще здесь было пусто — всего четыре часа пополудни; моряки, актеры и негоцианты собирались к десяти, когда Чарлз обжаривал в очаге кроликов, густо напигованных кабаньим салом, морковью, луком и чесноком; пахло поэтому в ресторанчике до того вкусно, что не отведать жаркого просто-напросто нельзя было. Сейчас, однако, кроликов еще только шпиговали, поэтому к столу подали лишь одно вареное мясо, соленый сыр и эль, который варил в пригороде Лондона шурин Чарлза, старый Хэмфри, невозможнейший хитрец, добавлявший в брагу лимонный сок и тертый хрен; явный отход от традиции, но коль вкусно — кто станет спорить?! (Первым здешний эль оценил Свифт, — когда у него начинался запой, он не уходил от Чарли; очень много ел, ругал на чем свет стоит короля, церковь, парламент, своих прихожан; себя величал "попом-безбожником": Чарли обзывал бандитом, а Дефо всегда жалел, гладил сухой длинной ладонью по голове, шептал: "Только один я понимаю, как тебе горько жить, мой бедный мальчик! Ты ведь мечтал стать живописцем? Или трубадуром, — только бы не слагать слова мудрости, будь они трижды неладны!...")

— Знаменитый, как вы заметили, газетчик — обжора, — сказал Дефо. — Как вы отнесетесь к тому, если нам зажарят фазана?

— Все новое интересно мне, но не более того, потому что высшее наслаждение человека не еда, не застолье, но собеседование, поиск совместной истины.

— Истина не бывает совместной. Истина, как и женщина на ночь, должна быть собственностью человека. Что же касается еды, то не сама по себе она интересует меня, — еда есть одна из форм выявления человеческого вкуса. Стол, по-моему, есть выразитель термина "ощущение", который и определяет всё на свете, не так ли?

— Я пока еще не понял вас, сэр Даниель.

— Поясню. "Ощущение" и "вкус" увязаны нерасторжимо. Вкус может доставлять человеку как счастье, так и горе. Увы, исследуя предмет вкуса, я пришел к выводу, что человек значительно легче сносит горести, нежели счастье. Именно так! Холодный суп, простоявший в тепле, вызывает досадные ощущения: вас мутит, в животе начинает бурчать, из-за этого над вами смеется любовница, вы вне себя, а тут еще сосед неловко задевает вас локтем; вы не даете ему даже мгновения, чтобы он принес извинения, бьете его по лицу; дуэль назначена; вы сражаетесь на кинжалах; в самый ответственный момент у вас начинается новая схватка внизу живота; противник видит вашу слабость; удар — и вы ушли в небытие! Счастье, которое доставляет вам отменный вкус, не надоедает, вроде старой любовницы или капризного ребенка, я уже не говорю о благодетеле в канцелярии, перед которым вы обязаны благоговеть, ибо получаете с его подачи орден и чин...

— Наверное, вы не переписываете страницы своих манускриптов, — улыбнулся Епифанов. — Вы говорите так, будто слова являются вам за мгновение перед тем, как вы их произнесли.

— Когда манускрипт правят, это свидетельствует о плохой работе: литература, как и любовь, внезапна, и стратегия ее развития подчинена логике, неведомой нам... Итак, фазан... Чарли, фазан! И эль, много эля!

— А вы слышали про трюфели? — поинтересовался Епифанов. — Особенно про те, которые растут в Африке?

— Трюфели? — Дефо удивился. — А что это?

— Это земляной гриб. Его ищут дрессированные собаки... Трюфели сообщают силу мужчинам и делают женщин любвеобильными.

— Да?! Поразительно! Где вы узнали про них?!

— Кажется, первый их помянул Ювенал, но, возможно, я ошибаюсь.

— В России они есть?

— В России может быть все, — ответил Епифанов. — Надобно лишь приложить руки. Климат наших южных районов вполне позволяет растить трюфели.

— Что вы называете российским югом?

— Территории, расположенные к югу от Азова.

— Но там турки!

— Пока.

— Да? Что ж, прекрасно! Но, думаю, вам все-таки выгоднее возить трюфели в Лондон через Балтику; путь через Босфор закрыт для вас, а дабы открыть его, надо будет пролить реки крови.

— Пока, — повторил Епифанов.

— Не понял... — Дефо становилось все труднее идти за русским; тот легко владел искусством собеседования, хотя лицо было благодушно, а в голосе звенела наивность и чуть ли не постоянное детское удивление.

— Я говорю, что торговля лишь пока связана с войнами. Но ведь это пройдет? Это ведь, — Епифанов снова улыбнулся, — безвкусно — перечить обмену силою оружия...

— Теперь я до конца убедился в том, что вы нация мечтателей!

— Мечтание более по душе мне, чем каждодневность, ее скука, а оттого — неверие в истинное благо.

— Видимо, вы не занимаетесь политикой, — подставился Дефо. — Мне кажется, что ваше призвание, постигнув языки, заниматься делом людского сближения через посредство перевода мыслей и слов, их определяющих.

— По-русски моя профессия действительно называется "толмач", то есть переводчик, вы угадали...

Дефо вздохнул: "Угадал. Я знаю всё о тебе, даже то, что ты ешь на завтрак и какие делаешь покупки в лавке, где торгуют писчими товарами".

Отломив ломтик мягкого, бело-желтого соленого сыра, Дефо спросил:

— Вас очень тянет на родину, мистер Епифанов?

— Да.

— Как долго намерены прожить в Лондоне?

— На то не моя воля.

— Нравится у нас?

— Нет.

— Отчего?

— Когда туманы, жить тяжело, гнетет...

— Вы правы. Поэтому англичане так любят путешествия и земли, расположенные много южнее Азова.

— А я северянин, жару не люблю, меня всегда влечет в светлые ночи...

— Не понял...

— На севере весной солнце почти не заходит, небо молочное, а сосны стоят красные, тишь, только гуси кричат на пролете.

— Слагаете стихи?

— Песни люблю... Как угадали?

"Угадал, — снова горестно подумал Дефо. — Если бы я мог угадать всё, я бы сравнялся с Шекспиром. Я всё о тебе прочел, юноша, я перестал угадывать, я забыл про это, я сочиняю, и, когда сочинение попадает в правду, происходит чудо".

Дефо налил Епифанову эля:

— Здоровье русского гиганта Петра Великого!

— Дай бог! — ответил Епифанов.

Выпили до конца; снова закусили соленым сыром.

— Очень завидуют ему? — спросил Дефо.

— Кто?

— Соратники...

— А ему равных нет.

— Так ведь завидуют именно те, кто ниже.

Дефо имел основание говорить так: он не мог забыть того дня, когда его коллега Гилдон опубликовал подметную брошюру против "Робинзона", обвиняя Дефо в вымысле и лжи; он полагал, что этим "откровением" убьет успех романа, объявленного документальным. Прочитав памфлет, Дефо съезжился, несколько дней не выходил из дома, полагая, что издатель расторгнет с ним договор. Однако народ любит то, во что поверил; автора можно заточить в Тауэр, убить, но персонаж — если он вошел в дома людей — вечен. "Робинзон" стал книгой-скандалом — лучшая реклама, гарант популярности; издания шли нарасхват.

Тем не менее Дефо не скоро оправился после того удара: Гилдон был его приятелем — они вместе начинали, их связывала если не дружба, то уж, во всяком случае, доброе знакомство.

Успех коллеги для окружающих его есть пробный камень доброжелательства, то есть порядочности.

Свифт тогда уже уехал в добровольную эмиграцию в Ирландию, встреча с ним была невозможной; раньше Дефо лишь возле него находил спокойствие и в мудрой снисходительности друга черпал силы для того, чтобы не *поддаться*. Дефо остался один;

его имя было на устах у всех. Гилдона же предали презрительному осмеянию, книга расходилась ураганными тиражами, чуть ли не по тысяче экземпляров в квартал, а сэр Даниель тем не менее проводил дни у себя на кухне, много пил, почти не спал, в сердце его была постоянная боль, а из головы не уходил навязчивый, разноголосый вопрос: "За что? Господи, ну за что же?" Эль не помогал: забвение не наступало; именно тогда Дефо впервые в жизни понял, что такое страх.

"Ничто так не страшно, как предательство тех, кто рядом", — подумал сейчас Дефо и, глядя на Епифанова, вспомнил отчего-то, что именно Свифт, угощавший Дефо отменным чокелатом в маленьком деревянном кабинетике в своем журнале "Исследователь", сказал: "Когда сэр Вильям Тэмпл отправил меня в Лондон с письмом королю, я встретился с русским царем. Двор подсмеивался над ним, а я понял, что вижу самого могучего политика столетия, о котором только может мечтать каждый народ Европы. Но именно потому, что он по-настоящему велик, путь его будет пролегать сквозь тернии: зависть в политике еще страшнее, чем тайная злость, царящая в нашем мире газетчиков, где все, словно дворовые псы, цепляют за ляжку клыками того, кто посмел вырваться из стаи даже на полголовы вперед. Но у нас хоть есть защита — память поколений. Государственный муж лишен и этого: слава его ненавистна преемникам, они ведь мечтают о своей славе, а она возможна лишь в том случае, ежели слава ушедшего будет отринута грутально, но в то же время презрительно".

— Как эль? — спросил Дефо.

— Хорош.

— А мне кто-то говорил, что русские бранят его; любят лишь свой мед.

— Верно, — легко согласился Епифанов. — Мы вообще-то больше прилежны своей пище. Наши страдают без борща, например, или без свежего каравай...

— Каравай? Это что?

— У нас такие хлеба пекут. Форма у них особая да и вкус свой...

— Вкус хлеба везде одинаков.

Епифанов улыбнулся:

— Ну уж...

— Не согласны?

— Конечно не согласен.

— Даже "конечно"... Эк вы своему приписаны... А церковь наша тоже не нравится?

— Страшит, — ответил Епифанов.

— Чем же?

— Обычностью своею... Праздника нет, один долг и страх перед Богом.

— Вообще-то Бога бояться не такой уж большой грех, это спасает многих от такого свинства, которое трудно сдержать законом.

— Ваш "акт о мятеже" сдерживает всех.

Дефо потянулся к кувшину, разлил эль по кружкам и лишь после этого поднял глаза на собеседника. Его последняя фраза заставила великого англичанина заново — в доли секунды — проанализировать весь предыдущий разговор, сделать вывод, внести коррективы на будущее. Фраза свидетельствовала о том, что собеседник далеко не так прост, как кажется, и что его милая застенчивость, столь понравившаяся поначалу Дефо, есть маска опытного дипломата, ведущего свою, совершенно от Дефо отдельную партию. Действительно, "акт о мятеже", принятый десять лет тому назад, вызвал на Острове множество разнотолков. Этот закон предписывал судьям монархии право и обязанность требовать разгона любого собрания, где было более двенадцати участников, если, особенно, собрание это признавалось мятежным. Отказ повиноваться позволял открывать огонь или же атаковать саблями наголо.

— Я противник этого акта, — откинувшись на деревянную спинку высокого стула, ответил наконец Дефо. — Он кажется мне наивным и трусливым.

— Вы не боитесь говорить так с иномземцем?

— Как правило, опасно говорить со своими, от них жди подвоха. Но я не скрывал своего мнения и от своих. Оградить можно землю; мысль не поддается ограждению. Мысль — явление особого рода, она делается отточенной, когда ею обмениваются, как деньгами на базаре. Да и потом, понятие "мятежность" — сложная штука; поколения должны смениться, прежде чем утвердится истина. Может быть, мятежное на самом деле окажется единственно правильным, а умеренное, привычное — мятежным, ибо мятеж есть не что иное, как захват чего-то кем-то... Был ли Кромвель мятежником? Не убежден... Каким его образ будет рисоваться нашим внукам? Не знаю... Относительность надежнее упрямой убежденности. Согласны?

Епифанов тоже ответил не сразу; он не очень-то даже и скрывал неудобства; Дефо отметил это сразу же, остро; на какой-то миг в его сердце возникла жалость к русскому.

— Мне трудно говорить, сэр Даниель, ведь я чужестранец...

— Каждый чужестранец рассматривает страну, куда он приехал, не отвлеченно, а надеясь извлечь пользу из дурного или хорошего опыта для своей родины, не так ли? Разве возмущение стрельцов не было раздавлено такими же законами — если не по форме, то по смыслу? А разве у них не осталось последователей? Разве не собираются они и поныне тайными группами, чтобы обсуждать и осуждать реформы вашего государя?

— Вам по душе, чтоб они имели право открыто собираться и звать к мятежу? Или разумен запрет на бунт?

— Ваш долг и право заниматься вашими делами; я говорил о том, что мне не нравится в моем доме. Наш "акт о бунте" не нравится мне...

— Ваши бунты шли от тех, кто хотел расшатать власть монарха во имя торжищ. Мятеж наших стрельцов был рожден страхом за то, что власть монарха поколеблена, устои расшатаны, торжище взяло верх над духом, истинно русское предано...

— "Истинно"? А что это такое — "истинно"?

Епифанов ответил сердитым вопросом:

— А что такое "истинно английское"?

— Такого нет, — убежденно, а потому смешливо сказал Дефо. — Наш язык есть всего лишь германская ветвь; наша архитектура рождена поначалу романским стилем, готикой — потом, а уж завершила ее развитие школа Италии, их Возрождение; наша живопись никогда не стала бы любопытной, не подготовь здешних мастеров великие иноземцы Ван Дейк и Гольбейн... Мы — жаркое из разных сортов мяса, со специями, картошкой и морковью... Слава богу, что теперь это блюдо заключено в одном котелке и его запах не разлагается на компоненты, — вкусно, и все тут! Я видел гравюру с портрета вашего государя: за ним сидел какой-то азиат, кажется калмык, охраняя российский скипетр... Не к тому ли стремятся и ваш великий государь, чтобы в одном котле замесить единое?

— Вот стрельцы и встали...

Дефо облокотился острыми локтями о стол, передвинулся к Епифанову и прошептал:

— Оттого они и нравятся многим по сю пору? Вам и многим вашим друзьям тоже, разве нет?

...Чарлз принес фазана, заменил порожний кувшин новым, полным до краев; присел на краешек стула, разрезал птицу, похвалил свою кухню, побранил священную особу монарха, который сквозь пальцы смотрит на рост оптовых цен, взвинченных купцами, пожелал приятного аппетита сэру Даниелю и его молодому другу и отправился готовить кроликов.

...Форсировать продолжение разговора Дефо не стал; он исповедовал постепенность и в литературе, не позволяя себе работать за полночь, и в разведке, причем ему казалось, что если порою в литературе можно нарушить правило, особенно когда вещь шла к концу и строки сами по себе ложились на тяжелые страницы тряпичной бумаги, то в политике — а разведка, считал он, высшее ее проявление — поспешность преступна, порою смешна, и ничто не спасет того, кто смешон, ибо это — раз и навсегда, будто тавро на крупе лошади. Да и подумать следует: молодой русский воистину не так прост, каким норовит казаться; слишком очевидна мысль, бьющаяся в глазах, которая значительней слов, им произносимых.

Ему есть что сказать, но он ждет, он, видимо, норовит увлечь.

"Вот и поувлекаем друг друга, — улыбнулся Дефо самому себе. — Кто кого пересмешит. А оппозиция Петру есть, сэр Дэниз прав, — юноша говорил об этом так, будто я русский, которому известно все о происходящем в Московии. Не было б там противников реформ, он бы не смог сыграть их наличие — слишком еще молод. Но Петр подбирает себе цвет страны, сие — истина. Велик, воистину велик, норовит будущих помощников строгать по своей мерке".

...Вернувшись в посольство, Елифанов отправился к себе на антресоли, разделся, не зажигая свечи, лег в холодную постель и начал сочинять отчет Петру, убедившись еще раз, как мудр был государь, напутствуя его перед дорогой: "Наши дремучие бояре лондонских мудрецов интересуют; суть их интересы тебе надобно понять, изучить, и не с моей препозиции, отселе, из Северной столицы, а с их разумения и прикидки. Британцы — люди ловкие, им тот у нас друг, кто за старое цепляется и посему к новому не пускает державу. Подставься им, они налетят. Причем — верь мне — налетят самые умные, ибо Франция со Швецией свое отшумели, а наш шум впереди еще. Так что жди. А дальше — сам умен, не зря в Венеции и Амстердаме годы прожил. Моя в тебе вера, тебе и платить за нее разумом своим".

...А за Даниеля Дефо вдруг стало Елифанову обидно: такой умный, а его, елифановские, хитрости постичь не смог.

Уже на грани сна его охватило ощущение теплого, высокого счастья: молод-то молод, а какие люди стали дарить его своим вниманием! Небось посол был бы счастлив попотчевать Дефо у себя в зале, а тот, глядь, его, Елифанова, угощал фазаном, набитым яблоками, морковью и какой-то особенной пахучей заморской зеленью.

5

Петр заехал во дворец ночью, перед тем как вернуться в свой домик на Неве — спать.

Он не думал, что отправится во дворец: едуци из Кунсткамеры на ассамблею к Ягужинскому (хотел посмотреть, как себя станет вести посланник Виктор де Лю; соглядатаи, коим было велено следить за ним, — одно дело, а свой глаз куда как надежней — в нем холоду нет), увидел на прищепке девочку, точь-в-точь похожую на Лизаньку; сердце защемило; часто болеет, маленькая; нос конопатый, в веснушках, а до марта еще далеко; и что за дивная страсть к гербариям; если б мне столько знать про мир в ее-то годы!

На ассамблее Петр был несколько рассеян; из головы не выходило лицо младшенькой; де Лю был суетлив и слишком уж шаркал перед вельможами. Как и всякий тиран, тем более просвещенный, Петр уважал в людях смелость, известную долю ершистости, хоть какое-то противодействие; ежели кругом податливость, перестанешь чувствовать реальность, себя самого и посему — окружающее.

В перерыве между танцами Ягужинский сказал:

— Аглицкие капитаны посулили мне привезти пять ящиков "Эрмитажу" для Вашего Величества.

— Почем просили за бутылку?

— Я не торговал, думаю, денег хватит, поскребу ефимков по сусекам.

Петр улыбнулся:

— Ну-ну... А где Брюс?

— Его денщик привез депешу, что задержится; собрал мастеров и архитекторов: обсуждают сообща, как лучше разбить сады в Питерхофе.

— Ну-ну, — повторил Петр, и Ягужинский сразу же понял, что государь изволит пребывать в дурном расположении духа.

— Чарку поднести? — спросил Ягужинский.

— Не буду.

— Что так?

— Есть что работать поутру... Как Меншиков?

— Сидит в своей библиотеке, размышляет, внимает чтению; поскольку прогулки разрешены ему, ходит помногу, кругов сорок мерит вокруг замка...

— Не просился выезжать за город?

— Не было такой просьбы.

— Какие книги ему читают?

— Не смотрели...

— Пусть поглядят. Человек про то читает, коли в опале, что мечтается ему или же чего боится.

— Посмотрим, — после паузы ответил Ягужинский и сразу же почувствовал, что Петр точно засек эту его паузу.

И верно, — рассеянно спросил:

— Жалеешь светлейшего?

Ягужинский знал, что гнев Петра будет меньшим, если сказать неугодную ему правду, чем лгать.

— Жалею, — ответил он.

— Не так еще жалеть станешь, когда голову ему срубят...

— Рука не подымет.

Петр кивнул на Толстого:

— У него подымет. А ты рескрипт зачитаешь для публикум.

Ягужинский покачал головою:

— Не стану.

— Скажу — станешь.

— Нет.

Петр тяжело обернулся к Ягужинскому, положил ему ладонь на загривок, ощутил сквозь парик, какая крепкая шея у генерал-прокурора и адъютанта, заглянул в зеленые глаза, потом приблизил к себе, поцеловал в лоб и пошел к выходу.

...Приложил палец к губам, шепнул преображенцам, охранявшим вход в детские, чтоб сидели тихо; дежурным камер-дамам повелел о своем визите помалкивать и, тихо отворивши дверь в спальню младшенькой Лизаньки, подошел к ее кровати на цыпочках, балансируя руками, чтобы, упаси господь, не потревожить сон любимицы.

Впрочем, и старшую, Аннушку, он любил совершенно особой любовью, считая ее главной преемницей своего дела. Девочка (хоть и невеста, семнадцать) была не по годам умна; в отличие от Лизаньки крепка здоровьем и осторожна в рассуждениях; знала цену слову и молчанию; последний год Петр несколько раз приезжал к ней, чтобы рассказать о своих делах, поглядеть в ее глаза, то, что недоговаривала, можно было прочесть в молчании, почувствовать во взгляде.

Именно потому, что Анна была преемницей. Петр испытывал постоянную тревогу за Лизу, хотя та не очень-то и скрывала, что любит мамушку превыше живота своего.

В спальне младшенькой горела лампадка; иконку подарил Феофан; святая Богоматерь прижимает к себе Младенца; ликом похожа на Аньку Монс: такая же кроткая и глаза длинные; на маленьком, белого ореха столике возле кровати горела большая свеча; воск, как слеза, катился в плошку. (Анюта этот воск собирала, топила, вкатывала тесьму, светила еще раз свечою; экономии учена, а может, это в крови у ней; Лизанька другая: всё на ветер выбросит, раздаст без жалости; песцовый палантин кошке подстелила, когда та окотилась.)

Петр присел на низенький стульчик возле кровати дочери; ладошки под щекою сложены, будто молится...

Вспомнилось вдруг: так Анна Монс молилась, пальчик к пальчику, сама кротость... А Евдокия?

...Он отогнал видения женщин, которых любил; ему было тяжело это.

Евдокия не понимала его; только первые два месяца счастливы были у них, да и то из-за веселого юного дружества; когда же понадобилось идти вместе — не смогла; вчуже был

ей Петр с его непривычностью! По натуре своей властная, воспитанная в традиции, Евдокия хотела, чтобы Петр вписывался в ее — с детства устоявшееся — представление о мужчине в доме. А он другим был; раствориться в нем — ума не хватило, а может, не могла: всяк человек, у каждого свой закон! Анна Монс тоже чего попроще хотела, тяжело было каждый миг держать себя в кулаке; поди попробуй с такой машиной изо дня в день быть рядом, угадывать его, утешать, миловать, шептать тихое...

А девка Гамильтон? Тоже ведь в любви клялась, и какова умница была, не встречал таких... И что же? К Орлову в постелю бегала, когда сам заседал с господами вельможами, суша мозг свой во благо дела государева. Только, считал он, одна Катя его понимала, только она, ангел... И вот тебе, кавалер Монс... Ладно, тех смог перенести; когда тридцать лет или сорок, все еще кажется сокрытым в радостной дымке будущего, а как за пятьдесят перевалит — конец, время подбивать бабки, нового ничего быть не может...

Петр вздохнул, прикрыл одеялом ногу Лизаньки, ощутил ее — детское еще — тепло, и волна нежности захлестнула сердце.

"Как же разнится отцовская любовь, — подумал он, — от любой иной... Никому не ведома тайна всепрощения, кроме как отцу..."

Резко, стремительным каким-то высветом, возникло перед глазами лицо Алексея, да так явственно, что Петр зажмурился даже; на том месте, где был сын, зажегся траурный зелено-черный контур, исчез зыбко, словно бы нехотя.

"Если б он на меня поднялся! — жалобно сказал себе Петр. — А он ведь на дело мое замахнулся, на державу... Ему б ее забрать в руки, да разве б он такую машину сохранил? Дважды меня Господь наказал: первый раз — Алексеем, второй — Петечкой".

...Когда умер двухлетний, вымоленный им сын Петр Петрович, он тяжело запил, не вышел даже поцеловать в холодный лоб младенца; крохотуля лежал беленький, словно сахарный; заперся в своих покоях, молил о смерти, не было сил жить. Из беды вывели его Ягужинский с Толстым, окриком вывели: "Кто будет указы подписывать?! Держава ждет!"

...Петр услышал вдруг какой-то шорох; пригнулся даже, подумав, что это жена Катерина.

— Папенька, — рука Аннушки легла на его голову, — что-то страшно мне за вас.

Петр обнял дочь, прижал к себе, поцеловал за ухом, спросил глухо:

— Лопатки почесать?

Дочь кошкой выгнулась, подставила спину; Петр стал почесывать острые лопатки левой рукой; правой гладил тонкую шейку.

— Страшно мне за вас, папенька, — повторила Анна. — Мне сон дурной снился.

— А ты поди и смой с рук водою... А коли с воскресенья на понедельник, так и вовсе не сбудется... И еще, мне маменька сказывала, нельзя в себе таить страшное, надобно рассказать сон тем, кому веришь, он стороною и пройдет...

— Собака мне бешеная снилась, пена с морды течет, черная вся, а глаза желтые... Когда Петечка захворобился, такой же сон снился, упаси Бог, сохрани и помилуй...

— Так ты помолись.

— Уже помолилась...

— Ну и хорошо, рыбонька ненаглядная... Что сегодня делала? Как день провела?

— Мы с сестрицею Мольерову шутку читали. Лизанька так хохотала, так смеялась, все Тартюфа из себя изображала, — жаль, не мальчиком родилась... Уж такая смышленная, такая зоркая...

— А меня не любит.

— Это годы у ней такие, папенька, я тоже вас страх как боялась.

— Меня?! Чего ж?

— Маменька мягкая да теплая, а вы — скорый, щеки колючие, усы табаком пахнут, да и шея болит...

— Шея? Почему?

— Так ведь на вас смотреть надобно, словно на башню, все голову вверх дерешь.

Петр засмеялся. Лиза как-то обиженно поджала губы, зачмокала во сне; Петр замер, начал шептать:

— Ш-ши-ш-ши, спи, красавица, поспи...

— Она не проснется, — сказала Аннушка. — Если б нас камер-дамы не будили, мы б до обеда спать могли.

— Ну и спите, коли хочется.

— Нельзя. Растолкают. Они ж по вашему указу нас будят.

— Ужо я им, — улыбнулся Петр. — Иди спи, ангел ненаглядный.

— Папенька, а вы когда снова придете?

— Скоро.

— Папенька, а мне всенепременно надобно замуж идти за герцога?

— Так ведь тебе, государыня моя, придет время править... Нельзя без мужа, Аннушка... Он послушен тебе будет, я долго его обсматривал, покуда решение не принял...

— Мне только подле вас хорошо, папенька... И надежно, и спокойно, и страха за Лизу нету...

— Ах ты рыбонька моя, — повторил Петр. — Что б тебе не царской дочкой родиться, что б тебе в простой семье радость людям несть... Завидуют ведь вам, завидуют, дуры башки, а по правде-то это вам завидовать на их беспечную жизнь можно... Мы с тобою отдельно от своих имен живем, Аннушка, такова уж царская судьба, — плетью обуха не переломишь. Иди спать, дружок... Глядишь, вас с Лизанькой возьму в Ригу, пора тебе подле меня садиться — время...

Сказав так, он снова, второй раз за сегодняшний день, испытал щемящую жалость к себе, потому что чувствовал — началась пора потерь.

Да, покудова герцог тих и покладист, судя по всему, верен, — нужен русскому делу; но, господи, совсем недавно еще держал я Аннушку на руках, черненькая была, потом чуть посветлела; ноздряшки сердечком; чухонка Элза, первая ее мамка, поила козьим молоком, к вящему неудовольствию камер-дам Кати; та для приличия бранилась на людях, но Петр знал — сама так повелела. Это от нее шло, от ее крестьянства, — чухонцы козье молоко чтут: с него у дитяти щеки висят, будто брылья, и ножки налитые, бутылочками, словно нитки перевязаны...

...А теперь лишь внуков ждать; детство дочек, самая нежная человеческая пора, мимо прошло, только картинки в памяти остались, когда возвращался из походов и айда во дворец, к ним, к капелькам своим... Только они к нему попривыкнут, как снова пора в путь, и снова надолго, а потом будто стена какая — время; то свои были, масенькие, теплые, ан прилежны делаются его неугомонному делу: барышни, государыни, самодержицы...

...Когда дочь ушла, Петр еще несколько минут, любясь младшенькой, своей еще покуда, тяжело поднялся, прикоснулся пальцами к губам, положил эти пальцы на лоб дочери, подкрался на цыпочках к двери.

"Пусть говорят что хотят, — вспомнив лица Татищева, капитан-президента гавани Ивана Лихолетова, Берга и Феофана, подумал вдруг государь. — Говорят — пусть. А будет все по-моему, дело держать должно в одном кулаке, иначе словно песок просыплется, как ни жми пальцами. Всё — сам. Тогда только сохранится держава. Как ни умно говорят, а послабление давать нельзя, не готовы еще людишки к тому, чтоб самим решать, — учить надо, носом тыкать. Много лет должно пройти, прежде чем по-моему можно будет попробовать, и десяти лет не хватит, Аннушкиным детям решать".

С этим и уехал, повелев камер-дамам детей утром не будить, как обычно, а дать поспать всласть.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Ваше Высочество!

Слухи, постоянно возникающие в Санкт-Петербурге, сего дни так любопытны и столь один другому противуречивы, что собрать их воедино, на основании этого создавать картину истинно происходящего при дворе императора возможным мне не представляется.

Я осознаю всю меру интереса, проявляемого Вашего Высочества канцлером к тому, чего можно ожидать от русского императора в ближайшем будущем, — а то, что им задуманы некие реформы, ощутимо сейчас всеми, — однако же смею за дерзость полагать честное незнание лучшим, нежели досужее гаданье или, еще горше, выдавание того за сущее, что нам бы хотелось увидеть.

Голландский посланник, который относится к числу тех, кто весьма близок ко двору, высказывает предположение, что самым сложным узлом в Северной столице на сей день являются отношения между светлейшим князем Менишковым, пребывающим в жестокой опале, лишенным всех своих позиций и доживающим последние дни в столице, и теми, с кем его связывало старое дружество; особо важными почитают его отношения с генерал-прокурором Ягужинским и графом Толстым.

...Ходят смутные слухи про то, что-де среди вельмож растет раскол, что партия, стоящая на позициях старой боярской концепции, открыто заявляет себя супротив "немчур, оттирающей государя от русского люда". Однако же император своего отношения к представителям различных групп, оформившихся при дворе, никак не выявляет; на ассамблеях веселится, понуждая старых друзей своих и новых противников пить огромный Кубок Большого Орла и лобызаться прилюдно, кляняся друг дружке в приятельстве.

В здешних посольствах потаенно ждут, каким образом император соизволит объяснить опалу светлейшего князя Менишкова, ибо по сей день тот почитается за третью — после императора и императрицы — персону в державе, и поныне еще среди черни его престиж весьма и весьма высок.

Если Ваше Высочество соизволят разрешить мне высказать то ощущение, которое постоянно живет во мне ныне, то я, не имея на то сколько-нибудь достоверных сообщений, могу, однако ж, утверждать, что здесь вскорости грядут события, ибо император введет такие новшества, кои — несмотря на сопротивление тех, кто уповает на возвращение привычных, старых порядков, — понудят империю к еще более мощному выходу к морям и к новым портам.

Вашего Высочества покорнейший слуга

Фриц Ласперс

Санкт-Петербург, генваря 1725 года, день восьмой

** * **

9 января 1725 года

1

В Иностранной коллегии Петр не стал интересоваться текущими делами; снова отметил, что в его присутствии чиновники враз меняются лицами, естественность исчезает; появляется некая каменность, и оттого их улыбки, которые должны были изображать радость, казались гримасами застывшего ужаса или, того хуже, издевкой.

В особом помещении, куда сходилась самая тайная корреспонденция от послов и верных людей, было жарко — жгли двенадцать свечей одновременно, и все толстенные; видимо, свечи были получены в подарок, скорее всего из Лондона, там к воску подмешивают индийские благовония, и оттого кажется постоянно, что в зале — красивая женщина, собравшаяся на ассамблею.

— От Татищева есть что? — спросил Петр, чувствуя тяжелое, мешавшее ему раздражение.

Это началось еще позавчера, когда, проснувшись, он вдруг явственно увидел, а потом услышал падение громадной сосны. Сначала — чуть ли не вздрагивая от боли — он телом ощутил звонкие удары топора по стволу; почувствовал острый запах белой смолы; потом почудились ему какие-то голоса, злые, высокие, показалось даже, что лесорубы были нерусские; а после был долгий окающий стон, и гигантская сосна, сокрушая — во все убистряющемся падении — маленькие деревья, росшие окрест, обрушилась на холодную землю, покрытую большими камнями, цветом точно как здешние, северные, систербекские.

...Петру принесли пакет, залитый по углам голландскою пастой с печатками: такой тайно не раскроешь. Тем не менее Петр изучил пакет при свечах весьма тщательно и лишь после этого взрезал его ножом, наблюдая, как крошилась темно-красная паста. (Он часто вспоминал отчего-то, особенно здесь, в тайной комнате Иностранной коллегии, как два года назад любимый попугай Кати чуть не стоил ему компании: собравшись в ее кабинете вместе с Меншиковым, они долго, чуть не шепотом, обсуждали план похода в Персию. Какова же была ярость Петра, когда через день один из его адъютантов, докладывая городские сплетни, сказал, что в столице начались пересуды: "Идем к персидским берегам". Петр ужаснулся: измена среди самых близких! Катя и Меншиков поклялись ему на Библии; Петр был в горькой задумчивости, кругом измена, коли лазутчик смог подслушать их разговор здесь, в кабинете самого близкого человека — жены... И в этот-то как раз момент Катенькин попугай заорал, подражая интонации государя: "Поклянись на Писании! Идем на Персию!" Какое же облегчение испытал он тогда, какое огромное, словно первый апрельский дождь, облегчение! А сейчас...)

Прочитавши письмо Татищева, государь спалил его, пепел бросил в корзину, посидел мгновение в задумчивости, поднявшись, сказал:

— Как от него что новое придет — сообщить немедленно; где бы я ни был — доставить, под охраною; а ему — через посла Бестужева — передать мою изустную благодарность.

...Охранять письмо Татищева стоило: тот занимался в Стокгольме двумя видами деятельности: первая, открытая, касалась экономики северного соседа, ее мудрой организации: шведское железо, шведские фрегаты, шведские штыки, шведские ботфорты почитались в Европе высшего качества, и не зря; особенно интересовало Татищева горное и железное дело, успехи скандинавов здесь были воистину великолепны. Вторая часть поручения, данного ему государем с глазу на глаз, была сугубо секретной: Петра интересовало все, связанное с возможным притязанием герцога Карла-Фридриха, женихавшегося к Аннушке, на стокгольмский престол. Как-никак Карл-Фридрих — племянник полтавского "брата-врага", чем не претендент, хоть и числится пока за Голштинией?! Шведов Петр почитал и надеялся на вечный мир с ними: коли воевать умеют, то и дружить, значит, должны отменно, а уж поучиться у них есть чему и подавно.

...К Татищеву государь относился сложно. Он всегда помнил, как тот, будучи совсем еще молодым, возглавив российское дело железных и медных заводов от Урала чуть не до китайской границы, запросил в Берг-коллегии право на привлечение к работе Федора Еварлакова, выучившегося в Саксонии металлургическому ремеслу.

Яков Виллимович Брюс, президент Берг-коллегии, не решился дать ему просимое право, хотя был человеком не робкого десятка, и переотправил депешу Татищева в канцелярию. Поступил он так неспроста: Еварлаков был не только искусным мастером и хорошей породы человеком; он очутился на Урале потому, что был схвачен по делу царевича Алексея; государь дважды самолично его допрашивал; за этого-то человека, зная об нем всё, и радел Василий Татищев. (Впрочем, он осмеливался и на более дерзкие выходки — хулил Священное Писание едва ли не при черни, за что был стукнут государем палкою: "Что между нами допустимо, то ко всеобщему посмеянию допустить нельзя, не готовы еще люди к смеху, их покуда надобно политесу и грамоте научить!")

Петр — после казни сына — порою впадал в черную меланхолию, затворялся в своем кабинете, никого не пускал к себе; мучили кошмары; виделась тонкая шея сына; острый кадык; руки, в которых еще таилась беззаботность детства. Сердце Петра останавливалось, дышать делалось трудно, ком застревал где-то под языком, лицо сводило продольною гримасой. (Впервые судорога случилась с ним, когда стрелец в церкви замахнулся длинным, в арабских разводьях, кинжалом; пустил бы кровь из шеи, зарезал бы весело, пьяно, безжалостно, не случись тогда чуда; а мальчик-то молился ведь тогда, при алтаре, подле маменьки.)

С годами боль утихла, но не прошла; нет ничего страшнее для отца, если дитя превратился во врага дела жизни. Вспоминая Алешу, государь с трудом подавлял в себе тяжелый мстительный гнев против Евдокии, матери несчастного. Воспитанная в неге и лени, в затворничестве терема, вне всяких забот, далекая от страстей государя, она не могла не только принять, но и понять мужа, его скорости, его идею, слепую, одержимую устремленность. Она хотела дать (и дала) их сыну все то, что дали с детства ей: радостную, созерцательную неторопливость, любовь к сказке, утреннюю негу; она привила царевичу любовь к дедовской одежде, и мальчик облачался в боярский халат, на радость мамкам, и только в те дни, когда отец возвращался в Москву из Архангельска или Воронежа, из-под Полтавы или Нарвы, поверженным или победителем, сын встречал его в кургузом басурманском платье, сшитом в Вене лучшим портным по присланным меркам.

Евдокия не только не старалась привить Алеше любовь к отцу, но чем дальше, тем явственнее растила в нем глухое несогласие с тем, кто поломал ей жизнь, отрекся от всего того, что дорого было и отцу Евдокии, и бабушке — всем, словом, кроме проклятой немки Аньки Монс, от ней все горе, а сколько потом этих немок, да голландок, да полек было — лучше и не вспоминать.

...После того как трагедия свершилась, Екатерина сделала так, что всякое напоминание об Алексее стало невозможным там, где бывал государь. Более того, она сделала все, чтобы внук, Петечка, сын несчастного царевича, постоянно бывал рядом с дедом; рассказывала мальчику истории о победах над врагами, о том, как император гордо водит своих воинов на поле брани, как те высоко гордятся своим борцом-самодержцем, как флотоводцы поражаются знаниям первого русского капитана, как профессора почитают за честь говорить с ним о своих ученых вопросах и как плотники диву даются веселой и потной работе великого умельца!

Маленький Петя слушал Екатерину, "проклятую немку", чужую бабку, хмуро, настороженно. Глаза его — круглые, как у деда, и такие желто-черные — порою вспыхивали каким-то особенным светом, и однажды, наблюдая, как отрок слушал о великом своем предке, Меншиков, обратившись к государю, тихо и очень медленно, словно бы страшась чего-то, спросил разрешения взять мальчика на охоту — травить медведя. Петр ответил, что забавы эти ему непонятны, что он предпочитает травить врага, а не безвинного, доброго потапыча, но, впрочем, согласился, чтобы мальчик побаловался соколиною охотой, однако пусть светлейший сам будет подле, не отступая от Петечки ни на шаг.

...Поэтому, когда Брюс передал прошение о поделъце убиенного царевича, ссыльном металлурге Федоре, государь поначалу разгневался, не смог справиться с судорогой, всякое напоминание о сыне воспринималось тяжело; повелел вызвать Татищева в столицу и заодно исследовать с пристрастием те челобитные, которые были поданы его любимцем, мануфактурщиком Демидовым, о притеснениях, кои чинит ему и его медному делу посланец столичной Берг-коллегии.

Петр тогда принял Татищева сурово, сесть не предложил. Повелел говорить всё без утайки. Однако чем дольше говорил Василий, сын Никиты, чем внимательнее вслушивался в его слова государь, тем интересней они ему представлялись.

Слушая рассуждения Татищева о том, что добиться блага в России можно, лишь завязав напрямую живой интерес коллегий с работою мануфактур, то есть позволяя служивым людям получать мзду с реальной прибыли, Петр то и дело вспоминал свои беседы

с философом Лейбницем, когда тот, приехавши к нему в Карлсбад и словно бы вколачивая свои рубленые, сухие фразы в пространства, одному лишь ему подвластные, а потому — видимые, говорил:

— Свобода воли — не что иное, как желание. Воля человека тем свободнее, чем она разумней. Цель желания — его удовлетворение; путь к этому лежит через деятельность. Трагическая неудовлетворенность человека есть результат подавления свободы поступка. Удовлетворение доставляет удовольствие. Неудовлетворение приносит страдание. Следовательно, для истинно волевого человека хорошо все то, что доставляет удовольствие, отвратительно лишь то, что сулит страдания.

Петр возразил тогда:

— А коли мне удовольствие с собак шкуры драть, я все одно хорош, ибо свободен в поступке?

— Наслаждения бывают двух видов, — сразу же ответил Лейбниц. — Первое — чувственное, то есть преходящее, минутное, суетное; оно непонятно мне, хоть и существует. Мне важно второе, ибо постоянное наслаждение суть не что иное, как блаженство, а путь к нему проходит через нравственную волю, а нравственность достижима лишь в постижении мудрости, или, ежели желаете, просвещения.

— Следовательно, — заключил Петр, — я должен вас так понимать, что воля обязана быть обусловлена либо знанием, либо точным представлением желаемого?

— Почти так, — сдержанно, после короткой паузы, словно бы удивившись чему-то, согласился Лейбниц. — Я понимаю, что вы как самодержец ищите реального приложения моей схемы к практике вашей деятельности, посему стараетесь каждое положение расценить словно британский эмпирик — с точки зрения примата опыта. Воля не должна быть злой, потому что она — первый шаг в познание, которое всегда и во всем благородно, но уж если стало так, что воля — зла, то это лишний раз подтверждает необходимость диавола как того извечного противовеса, без которого не было бы добра.

Петр тогда улыбнулся и процитировал: "Быть свободным — значит быть активным; несвобода — это пассивность".

Лейбниц, почтительно склонивши голову, спросил:

— Читаете Спинозу?

Петр ответил:

— Чту ум.

Впервые Петр проникся сознанием государственной важности целостного строя рассуждения, оформленных в однозначный, как геометрическая формула, тезис, познакомившись с Джоном Локком; встречу устроил один из друзей Ньютона, от которого русский урядник "Петр Михайлов" вернулся на ночлег поздно ночью, проведя целый день в Британском монетном дворе, восхищенный Ньютоном, его чуть отрешенной, а потому шутилой, словно бы извиняющейся логикой.

Джон Локк был сед; он повстречался с юным русским "дипломатом" рано утром; сначала они пили чокелат из маленьких, тонких — китайского фарфора — чашек, потом философ изложил свою идею:

— Граница, разделяющая нравственное и безнравственное, есть поступок, согласующийся или, наоборот, отступающий от правила оценки. Эта оценка, положивши награду за исполнение, — а что, как не удовольствие, суть высшая награда человеку?! — карает нарушение наказанием, то есть страданием, чем же еще?! Правило, оценка — это закон. Мир знает таких законов лишь три: Божий закон, данным нам Откровением, то есть разумом свыше; гражданский закон, устанавливаемый государями сей земли, и, наконец, философский закон, который проявляет себя лишь во мнении общества.

Петр тогда сразу же заметил:

— Пожалуй, что сей последний закон — самый действенный; ибо, как я вижу в моем отечестве, бывает, что и Божий закон преступают без особого страха, и государев, а вот философский преступить не решаются, страшно людской молвы.

— О, что вы сказали, согласуется с моей теорией, — заметил Локк и впервые заглянул в глаза русского "дипломата", словно бы заметив в них нечто совершенно сокровенное. — Именно так я и представляю себе градацию ценностей сих законов. Закон Бога — закон долга и греха; закон государства — проблема вины и безвинности; философский закон обнимает два понятия, пожалуй что самых трудных для анализа, — добро и зло, порок и честь. Тот государь преуспеет, который сможет видеть подданных своих не единою безглазой массой, но собранием диковинных разностей. Пробившись — просвещенным разумом — к сердцу и уму каждого подданного, воспитав в нем честь как основу бытия, государь может не страшиться молвы и памяти, — она будет священной по нем, ибо он — через честь — даст свободу каждому, а свободный человек — добр, куда как добрее порабощенного, воля его устремлена к радению во благо ближних, а не во зло.

...Татищев — и Петра это радостно изумило, — рассуждая о перспективах для России, особенно ее экономики, исходил именно из права человека на свободу поступка во имя общего, сиречь державного, блага.

— Ежели вы, государь, — говорил он Петру, — не дадите свободу действий нашим людям в торговле и ремеслах, будут ждать нас превеликие беды. Надобно сугубо оградить купцов и мануфактурщиков, ремесленников и металлургов оттого, чтобы каждый шаг им предписывался из ваших петербургских коллегий. Пока ждут на месте указа из коллегии, а та — от канцлера, а тот от вас, а вы в походе месяц, полгода, год, — дело стоит, решение не принимается, а коли оно стоит, то, значит, опрокидывается вспять. Государев интерес — не тот, что у казенного чиновника; у того главная цель — бумагу соблюсти; а для государства бумага без пользы; она только тогда истинна, когда делу прилежна, чтоб денюга от одного ходила к другому, — без этого тиною зарастем, изнутри захвораем; оборот денег в государстве словно движение крови в человеке — стало на миг, вот тебе и смерть! Три препозиции охраняют государство от хворобы: ваш наказ коллегиям не мешать людям дела, поелику они по своим законам живут; ремесло проверяется торжищем, а не указом, пусть даже царским; надобно начать-повсюду пути прокладывать, а не между одними лишь столицами, в угоду торговле и ремеслу, сиречь обмену между трудом людей, и, наконец, позволь, государь, наладить на Руси кредит, чтоб каждый смекалистый и умелый человек мог поставить мануфактуру, начать дело, открыть наши недра без страха не только за свою жизнь, но и за живот детей своих. Кредит — сие банк, а из него ведь не только будут брать, в него — под грядущую прибыль — положат денюги, большие денюги, а твое дело состоит в том, чтобы новые мануфактуры и шахты, банки с их кредитами и со всесвязующим оборотом охранять от чужеземного врага. Сейчас, государь, покудова нет такого закона, вельможи в одном лишь усердны: угадать твою волю, желание, порыв, мечту. Это для них главное; в этом преуспевают — значит, в должности повысятся; от этого им ноне главная прибыль, а не от общего дела. Но ведь нельзя же всем волю одного угадать! Пусть бы они не волю твою угадывали, а давали отчет, сколь денег заработали от честного покровительства делу!..

...Выслушав тогда Татищева, государь должен был решить участь его; характером, видно, труден, норовист, языкаст. Подумал, что на Урале погубят его, защитить не успеет: пускай отсидится в шведах; когда порешу всё по-новому, когда найду тех, на кого можно перед новой кумпанией — не на поле брани, а в налаживании хозяйства — положиться, тогда верну, приближу, послужит; сейчас неразумно его поднимать, не простят завистники, изведут. Но можно ли вообще идею самодержавия навигационно скорректировать? Или идея "самому всё держать" настолько укрепилась в подданных, что любая новация — во их же благо — вызовет общий протест: "Не нами положено, не нам и менять"? Поймут грядущий поворот или не простят смены курса? Но ведь корабль остается кораблем, несмотря на то что капитан курс правит и обходит штормы неведомым до того маршрутом. Во имя чего? Да для того же, чтоб сохранить корабль! Лучше неведомое новое, чем гибель с привычным старым. Да, коллегии я завел, со шведского примера взял образец, но ведь это как новое вино заливать в старые мехи! Кто за канцелярские столы первым сел, как не те, кому коллегии эти были словно прежние думные приказы, и прибыли с них нет — коль только не красть по-

черному и взятку не брать?!

...В приписке в депеше, связанной с открытым поручением — вызнать в горном деле новости и пригласить умельцев, Татищев и сейчас оставался верен себе.

"Государь, — писал он, — обращаться в коллегия, понеже к высочайшему президенту Якову Виллимовичу Брюсу, пользы делу не принесет, все потопнет в трясине, поскольку чиновные люди станут ожидать Вашего мнения, а спросить открыто — как о Федоре-металлурге — не решатся, а коли бы Вы дали им с моих шведских сделок интерес, работа б сама пошла катом.

Здесь, во Швеции, так и поставлено, потому, где у нас пять сотен приписных душ работает, коих силою к стройке мануфактур пригнали и сторожат солдатами, здесь трудится лишь всего пять десятков, охраны нет, все свободны, работают не от страха, а для доброй mzды, хорошего приработку.

Совестно мне, государь, говорить Вам, но ведь тутошний лакей, служащий у лица, занимающего низшее по сравнению со мною положение, получает чуть что не столько от казны, сколько мне, цареву посланцу, поставлено.

Был у меня недавно сговор со шведским умельцем, дабы он уступил мне чертежи своего нового завода за небольшую плату, — так ведь нет! А отчего? Питербурх не разрешил! В деньгах — самых малых — отказал мне! А ныне эти чертежи перекупил француз из Парижа в десять раз дороже, чем то, что с меня требовали. Хоть и не купец я и не деловой человек, но, как и они, бедолаги, лишен свободы поступка. А коли б считал себя вольным в решении, крутился б как волчок: уговорил бы одного, уступил другому, ибо имел бы свою от поступков и расторопности корысть, да дикие мы, торговли бежим, будто только армянину иль жиду это потребное дело, а нам лишь вино пить да лясы точить и сладким мечтаниям предаваться...

Бога за ради простите, государь, дерзость мою, что о помощи в таких суетных делах к Вам взываю; понятно мне, что не Вашего это резону дело, тем не менее помощи прошу, поелику не о себе радею, а о нашей скорбной и прекрасной Руси..."

2

...Заехавши в Берг-коллегия, Петр отправился к повару своему и метрдотелю Фельтену (последнее время собирал господ вельмож не у себя дома, чтоб не видеться с Катей, а в доме голландца); за каждый обед сам платил Фельтену червонец и с вельмож требовал такой же платы.

Угощение было отменно простым: поначалу рюмка анисовой водки, затем кислые щи, поросенок в сметане, холодное мясо с кислыми лимонами, любимая государева каша, солонина, блины; сам Петр пил французский "Эрмитаж", способствовавший желудку; наемни перекупил сорок бутылок у английского купца Эльстона по рекомендации своего лейб-медика Арескина; гостей угощал токайским или сладким рейнским; к "каве" подавали сладкое липучее вино португальского производства — темное, отдает виноградом, склеивает пальцы...

В Берг-коллегии Виллим Брюс, добрый островитянин, разумевший по-русски так же хорошо, как и на прежнем, родном, английском, гневный вопрос государя о помощи Татищеву в горном деле выслушал спокойно, с достоинством; ответил, не тая некоторого раздражения:

— Сделайся президентом коллегии, государь, а я останусь в помощниках! Сил у меня более нет, и взяться им неоткуда!

— Силы я тебе прибавлю, этого жди, а вот деньги для Татищева есть?

— Деньги, — усмехнулся Брюс. — Больно просто вопрос ставишь, Петр Алексеевич. Я поначалу, перед тем как наложить реляцию своему вице-президенту, должен собрать предварительное мнение всех господ сенаторов, а их у нас в присутствии постоянно восемь, каждому его адъютанты готовят отзыв, — гляди, месяца четыре ждать потребно. Я в реляции

своей написал — "помочь", хотя генерал-фельдмаршал возражал: "Пусть перевертится и склонит шведов за дружбу радеть, а не за ефимки". Слава Христу, Петр Иванович Ягужинский, про его инородческое забыли теперь; он — не я, не Брюс, счастливый человек, ему в нос родительской кровью не тычут, — высказал иное мнение: "Только русские склоняют к дармовой работе словом, да надолго ли? И как велик от такой работы прок?" Мой вице-президент передал письмо Татищева с положительною реляцией по столам — собрать сведения, сколь стоят такие же чертежи в Англии, Саксонии, Голландии, Франции, — на это уйдет еще поди семь-восемь почт, то бишь полгода, а то и более. Засим — проверить надобно, нет ли таких же умельцев у нас, им вменить задание изобрести свои чертежи, не платя шведу денег вовсе. Еще полгода отбрасывай. Не каплет ведь! Только у нас деньгу за должность платят, а не за работу. У нас важно день пересидеть, ничего самому не решать, отнести все бумаги на стол начальнику, что рангом поболее, а тот — в свой черед — то же самое проделывает. Рабье иго в людях, государь; ждут указу; самости своей бегут; ведь проверка им — не результат дела, а твое слово!

Петр задергал шеей, отошел к окну:

— А ежели ты своим мерзавцам — вкупе с почтовым и дорожным ведомствами — от хорошей татищевской работы отдашь часть прибыли?

— Тогда Россия станет первой державой мира, государь. Да разве тебе бояре этакое позволяют?! "Басурманство, суета, торжище, так Лондон живет, а он — болтлив и много вер терпит, да еще государей своих позволяет господам парламентариям открыто бранить, не страшась Тайной канцелярии..."

...У Фельтена за обедом, покончив с квасом (кислых щей сегодня не давали, зато квас был отменный, на меду, с острым хреном, шипучий, шибал в нос, а ежели прибавить ложку свежестертой свеклы, делался бордового цвета и совершенно нового вкуса), Петр сразу же набросился на холодную телятину с огурцом (знал, что за употребление этого мяса его тоже за спиною обличали басурманом: виданное ли дело, есть телков, специально под нож кормленных! Другое дело корова, в ней от жизни усталость, а коли усталость видна, так и жалости нету). Покончив с бело-розовым, со хрящом, мясом, но перед тем как приняться за блины, поднял взгляд на князя Голицына, только-только приехавшего из Киева:

— Дмитрий Михалыч, это ты мне подсунул монашка для переводческих работ?

— Коли б мог подсовывать, государь, я б не только одного монашка подсунул.

Генерал-прокурор Петр Иванович Ягужинский посмотрел на Петра, ожидая реакции на дерзость, но государь словно бы пропустил ответ мимо ушей.

— Пресмешное дело случилось давеча, — как-то странно усмехнувшись, продолжал Петр, бросив на большую тарелку десяток тонких, как японская бумага, блинов (ажурны, будто бы кто кружева по ним вязал). — После того как нашим радением перевели и напечатали на российский язык "Фортификацию" Вобана, "Историю Александра Великого", писанную по-латыни Курцем, "Искусство кораблестроения", "Непобедимую крепость" немца Борксдорфера и "Географию" Гибнера, решил я дело сие продолжить — ныне заканчиваю чтением "Гражданскую архитектуру" Леклера и "Точильное искусство" Плюмера. И та и другая книги — отменны, дам в перевод, но, князь, не твоему монаху.

— Что так? — спросил Голицын.

— Да потому как Пифендорфово "Введение в описание европейских государств" я именно ему дал, и он в три месяца и семь дней сделал пересказ; слог хорош; слова чувствует, я было хотел даровать его милостью, но, заглянувши в конец перевода, остолбенел от недоумения, которое есть — в этом я равен со всеми — не что иное, как путь ко гневу. Дело в том, что твой монах самолично выбросил все те места в Пифендорфовом сочинении, где про россиян говорилось со злою колкостью.

— Значит, монашек достойно блюдет нашу честь, — сказал Голицын.

— А про мою честь ты не думаешь? — тихо спросил Петр. — Я ведь не в поругание моему народу велел сию книгу перевести и напечатать ко всеобщему чтению, а для того лишь, чтобы подданные узрели, как о них ранее смели писать в просвещенных Европах,

каковы представления о них были, — тем лучше б стал контраст, какими они на самом деле ныне являются. Я начал отсчет по новому календарю, но от старого не отрекаюсь, вижу путь, дабы и в нынешнем новом истинно старое — но лишь то, что профитно делу и благородно душе, — сохранить в назидание потомкам. Лишь слабый может дух свой потерять; сильный — сохранить; слабый — неуч; силен тот, кто знает...

— И я о том же, — сказал Голицын.

— Не задирайся, князь, — еще тише произнес Петр и, обернувшись к повару, попросил подавать сыры; со времени своего первого путешествия в Голландию он приучился сам и приучал своих близких вместе с "кавою" угощаться маслом и сыром.

Когда Фельтен принес — на деревянном блюде — сыры, Петр вдруг побледнел, достал из кармана циркуль, промерил "Лимбургский", самый свой любимый, сыр и загремел:

— Сукин сын! Я ж велел никому "Лимбургский" не давать! А здесь — всего лишь половина! Где остальной?

— Сколько было, столько и подал, государь!

— Врешь!

— Может, кто ненароком и взял маленький ломтик...

— Ломтик?! — Петр достал записную книжку, раскрыл ее, приравнял циркуль к прошлой своей отметине. — Плут! Плут и дрянь! Больше половины самого дорогого сыра ужрали!

Он стукнул тростью об пол, но, увидав слезы в круглых голубых глазах метрдотеля, подниматься со стула не стал, вздохнул только:

— Все — жулье, ей-богу, все до одного... И чего людям не хватает?

— Веры, — ответил Голицын.

Андрей Иванович Остерман замер — как был с блином на вилке у рта; а Ягужинский — человек бесстрашный, особенно после трех рюмок анисовой, — поразился тому, как ответил государь:

— При чем тут вера, Дмитрий Михалыч? Просто-напросто ты Гоббсом перечитался, а он для Англии хорош, для нас — не всегда.

...Петр знал (не только служилые фискалы доносили ему обо всех; отбою не было от желавших написать на ближнего, дабы самому подняться), что Голицын хранил огромную библиотеку в своем подмосковном поместье, чуть ли не десять тысяч томов. Когда государь отправил его губернатором в Киев, Дмитрий Михайлович приблизил к себе наиболее талантливых студентов Духовной академии, гораздых в иностранных языках (оттуда, кстати, молодого монашка и рекомендовал ко двору, — государь не зря гневался на его самовластье в цензуре), и за неполных два года собрал у себя переводы Макиавелли, Вольфа, Локка. Был у него и экземпляр переведенного Пифендорфа, — потому-то Петр и завел разговор об этой книге на обеде, специально пригласивши Голицына, чего тот устаивался в последнее время нечасто, особенно по причине своего — чем дальше, тем больше — неуживчивого норова.

Вообще-то Петр предпочитал говорить с ним с глазу на глаз: чаще всего приходил к старику сам; по утрам терпеливо ждал: "Дед молится всерьез, вершит свои дела неспешно, меньше часа в красном углу не стоит"; тем не менее эта прилежность исстари заведенному порядку была Петру — в глубине души — приятней, чем ловкость Толстого, который в своем кабинете одну стену держал старорусскую (иконы новгородской школы, два лика, писанные древним умельцем Андрюшкою по прозвищу Руплев), а напротив вывесил бесстыдный портрет голой бабы, что вывез из Венеции, столь полюбившейся его сердцу еще в конце прошлого века.

Петр знал, что Голицын был недоволен публичным изданием Пифендорфа, но при этом в узком кругу молодых последователей из Духовной академии соглашался с немецким ученым, особенно когда тот обрушивался на нашу леность.

— Нашему мужику палка потребна постоянно, — говорил князь, — без понука никто работать не станет, слишком страна богата.

Когда один из молодых монахов, кончивший стажировку в Венской академии, возразил, что, мол, никто еще — после новгородских времен — не позволял русскому человеку получить свой интерес в деле, Голицын разгневался и монашка услал на север, в опалу.

— Не тебе, молокососу, учить меня пониманию русской души! За мною род, а за тобой?!

Что касается зависти, грубости и упрямства, о которых писал немец, то Голицын почитал это за клевету, ибо — судя по трудам Макиавелли, весьма ему полюбившимся, — именно на католическом Западе зависть (как некое следствие духовного затворничества) была одной из определяющих черт общества; упрямство же — коли оно разумно — казалось князю качеством достойным, а никак не зазорным: "Не будь упрям Александр — не стать бы ему Македонским; не был бы груб Владимир — быть нам по сию пору язычниками и Перуну молиться!"

Особенно тщательно в последнее время Голицын работал над переводами законоположений Швеции, Голландии, Англии и Франции.

И само собою вышло так, что вопросы государственного устройства в других странах, интересовавшие Голицына, могли найти толковый ответ у знатока по басурманским уложениям, а человеком, который начал давать князю ответы такого рода, был саксонец Фик — тайный и самый доверенный осведомитель государя.

Именно он и сообщил Петру, что Голицын, несмотря на свой консерватизм, не станет противиться сути новых реформ, коли их провозгласят, — более всего князя занимают вопросы формы: Голицына пугала возможность растворения русского духа, который, полагал он, ярче всего выражается в православии, единственном вероучении, могущем противостоять холодным схоластам папского двора.

"Что ж, выходит, до православия мы истинно русскими не были? — подумал Петр, выслушав донос Фика. — А собиратель России Иван Третий, обвенчанный с Софьей Палеолог, не был истинно русским, отправив послов в Ватикан и пригласив к себе немецких и итальянских умельцев? Куда ведет Голицын? Откуда такая упрямая прилежность к тому, что уходит? Отчего страх перед тем, что грядет? Это ведь как отцу ребенка не жаждать! Ведь не избежать людям нового дня, хоть под землю упрячься, — неужели непонятно сие? Отчего он почитает за благо для себя книги собирать, в коих бранят нас, и Макиавелли с Гоббсом с пером в руке исследовать, а другим русским норовит запретить эту же — благостную для ума — работу?"

Голицын выслушал государя, когда тот однажды пришел к нему ранним утром с добрым разговором, и ответил с болью и безысходностью:

— Я про наш народ не менее тебя, государь, знаю, и то, что ты науки ему даешь, почитаю благом, и то, как армию с флотом наладил, вижу с истинной радостью, и то, как ты смог в мире уважение к Руси поставить, — зову чудом. Никому до тебя не удавалось, дабы Россия в глазах европейцев сделалась воистину великой. Но ведь то, что быстро, — то преходящее! Ну, в Питербурхе тебя, страшась, слушают, и дома по твоему фасону строят на голландский манер, и камзолы короткие носят, и рукава обрезают, и бороды сбрили. Ну, ладно, Воронеж тебя боится, и в Архангельск ты навещаешься. А Рязань? Калуга? Смоленск? Псков? А деревня? Россия словно бы надвое разрублена. Питербурх и Москва — это ж два разных государства! Два в одном! А ну как устанешь? А ну — кто на смену тебе придет и начнет вспать поворачивать? Или — Господь спаси — еще круче брать к новому, что нам вчуже?

— Ты меня зачем хоронишь? Рано, — ответил тогда Петр. — Я еще к делу гож, а престол мой возьмет Катя, Анна или Елисафет. Кто ж еще?

— А почему не внук? Почему не Петр Алексеевич? Зачем не Петр Второй?!

— Так за ним же все те стоят, кто меня желтой ненавистью ненавидит! За ним те стоят, кто Толстого с Ягужинским на плаху потащат. За ним те стоят, которые и тебя не помилуют, хоть ты дома в боярском халате шлындраешь! Так кто же останется тогда возле трону из

моих?

И вдруг, после долгой паузы, князь ответил:

— Меншиков — из твоих — останется.

Петр с живостью возразил:

— А он — мой? Он не мой, князь. Он — свой. А вся сила его для меня в том, что простонародная Русь в его лице воплотилась; своим умом всё постиг: и чужой язык, и маневр в бое, и навигацкую науку.

— По твоей подсказке, — отрезал Голицын. — А ты попробуй, не говоря ему — как; ты попробуй, чтоб он — сам... Не сможет он сам, без тебя, чтоб ты сверху не указывал...

— Выходит, что для тебя, — заметил Петр, — всякий русский — если только он не родовит — пень и дурень? Как же ты против меня смеешь голос подымать? Как же смеешь ты трепать языком, что, мол, я веду политику супротив обычаев родного племени? Не я, выходит, против народа, Дмитрий Михалыч, а ты — со своею боярской дрему-честью, — нет разве?!

— Гоббс — не русский и не боярин, — ответил тогда Голицын, — а я его высоко чту, тревожно думая и об нашем былом, и о твоём будущем...

Петр тогда смолчал, ушел; несколько дней провел в работе, исчеркал пометками книги англичанина; понял, что именно привлекло в Гоббсе князя Голицына: "Законы, уложенные государством, понять нельзя, а посему предметом исследования они быть не могут. Подданные обязаны усвоить эти законы, то есть свято в них поверить, так же безропотно, как больной глотает снадобья, предписанные ему лекарем, — не разжевывая".

Однако этот постулат Гоббса, столь угодный Голицыну, никак не сопрягался с системой доказательств, которые следовали дальше, ибо англичанин утверждал, что научным, то есть рациональным, можно считать лишь такое объяснение, в котором изложена причина действия, сиречь войны или работы.

"А как же тогда понять и объяснить причины, приведшие к тому, — думал горько Петр, — что наш человек велик в бою, в песне, в полете мысли, а вот в торговле — либо дурень дурнем, которого любой вокруг пальца обведет, либо мелкий плут, не чувствующий дельной выгоды; как понять причину того, зачем мы по сию пору представляем одного лишь хлебопашца главным империи спасителем — на изумление просвещенной Европе, а он живет в избенке чуть ли не без окон, безграмотен, гол и нищ?! В чем причина того, что наш человек не радеет о дорогах, а в них — смысл государственного единения? Терпит голод, дурью безмозглость помещиков, кои не умеют — по тщеславной своей темноте — хозяйствовать, на корню разоряют империю, — но в то же время легко и гордо принимает голод и смерть во имя защиты отечества?! Где в этом логика, о коей так радел угодный князю англичанин Гоббс, почитая за науку наук геометрию, ибо лишь она объясняет суть движений в пространстве?! Как сопрячь симпатию князя Дмитрия Михайловича к лондонскому философу в поиске примирения старого с новым, коли тот полагал высшим смыслом развития "индивидуальное существование личности, ее независимость и силу"?! А для князя наш народ — понятие нерасчленимое, общее!"

...Петр как-то натолкнулся на любопытное примечание у Гоббса, которое вдруг высветило для него Голицына совершенно в новом свете — беспомощным, добрым дедом (как же он мечтал о таком детстве! Кругом были мамки, ни одного доброго старика! Все, кто хранил его и следил за каждым шагом, были затаены и молчаливы, — ведь он им был государем, хоть и дитя, игрушками баловался, а они рассчитывали его, будто фигуру в индейских "шах и матах", сердца и слез в нем не видели, лишь зачарованно смотрели на корону).

"Страх, — отметил Петр в работе Гоббса, — который возникает из-за тех причин, которые нельзя объяснить, понудил людей выдумать себе богов".

Отсюда англичанин (во многом отрицая самого же себя, как казалось Петру) сделал вывод, что власть существует, поскольку каждый подданный поступился своим правом на личное могущество, отдал его добровольно монарху и почитает закон лишь оттого, что

согласился с наказанием за преступление.

...Петр, управившись с блинами, откинулся на спинку стула и, обращаясь словно бы к повару Фельтену, а не к Голицыну, заметил:

— То, что хорошо Англии, для России непотребно. Твой монашек, князь, не просто перекладчик с чужого языка, он — лицо, прилежное Церкви, а ты его против меня, светской власти, наставляешь, полагая, что он лучше самодержца и Церковного Отца может блюсти русский дух.

— Подговору не было, — сказал Голицын.

— А к чему подговор, когда глаз есть, мимика да слово? — усмехнулся Петр. — У нас господа вельможи будто музыканты: слух отменный, любой нюанс сразу поймают; это Гоббс объяснение каждому факту требует, а нам лишь намекни — голову своротим, от всей нашей широкой души. Знаю, куда тянешь, князь! Не столько за угодную твоему сердцу старину, сколько против моей, государевой новизны. Умен ты, Дмитрий Михалыч, подумай лучше: как старое с новым примирить? Не то рассержусь я, князь, ибо коли начнем русскостью считаться, то я побегу: тебя поскوبлишь — либо литовина отыщешь, либо татарина, а уж варяга — то бишь шведа — наверняка!

— В чем винишь меня, государь? — Голицын португальского вина не пил, к "каве" не притрагивался — басурманская горькая гнусь; сидел выпрямившись, будто перепоясанный широким татарским поясом с серебряной пузырчатой чеканкою.

— В том, что стар, сиречь — устал! Всего медлишь! Так другим поспешать не мешай! Старина тебе любезна оттого, что хоромы твои сказочны, дома теплы, книги всеязычны, еда отменна! А об сиром и бесправном горожанине, об темном холопе ты словно б через сюду думаешь! За них твоей боли нет! Ты себе самому норовишь жизненную усладу продлить, — пусть все по-привычному будет, тогда ни об чем думать не надо и страшиться нового действия нечего!

— Действо — это когда каждый к себе тащит! А сие нашему духу противно, нам вчуже, это народ не примет!

— А ты откажи ему пару своих дворцов, — зло хохотнул Петр, — может, и примет! — Молчал долго, а потом горько произнес: — Только одно людишки радостно делят друг с другом — страх. Будь то смерти страх, побоища, недорода, хворобы... Лишь мать ломоть хлеба делит неровно — большую часть дитю отдает... Так это ж — мать, другого такого понятия в мире нет...

— Такими словами недолго мужика к бунту супротив древних родов поднять, — сказал Голицын, отодвинувши от себя потухшую трубку Ягужинского нескрываемо брезгливым жестом.

— Преображенцы подле нас — чего ж бояться пьяной и темной ярости? Угомоним, не впервой. Да и поднимали мужиков к непокорству людишки вроде твоего монаха, чванливые, для них и дерьмо сладко, коли свое...

— Ты, государь, похлеще монашка разрушаешь своими словами основы. Наш народ — особый...

— А ты чего за весь народ говоришь, князь? Ты за себя говори, за свой род, за Голицыных.

Голицын упрямо повторил:

— Зовешь к бунту, коли на благородные фамилии замахиваешься...

— Когда к делу зовут, бунтов не бывает, князь. Бунт только супротив застою подымается. Съезди на Ладыженский канал, там тебе объяснят закон шлюзов; из Голландии, столь тебя тайно интересующей, пришла к нам сия наука... Но я тебя позвал неспроста, не стал бы вокруг твоего монашка ходить, коли б гневен был без предела. Я тебя, Дмитрий Михалыч, позвал, дабы спросить при всех: не возьмешься ли разработать закон об льготах для торговцев и ремесленников, наподобие тех, которые были в Великом Новгороде, чтоб не мешали работникам мои коллеги бумажными приказами, а лишь способствовали пользе дела, которое исчисляться будет не тем, чего из казны не дали, отказавши в просьбе, а тем,

сколько в казну прибыли принесли. Тогда станем с профиту платить жалованье государевым людям, а не с места, на коем человек сидит, руками вцепившись в стул, будто в мамкину цицку, — отыми, с голоду помрут, бездельники.

Петр достал червонец, положил рядом со своей тарелкой. Ему последовали Остерман, Ягужинский, адмирал Апраксин; Голицын долго шарил по карманам, нашел лишь мелкие медные деньги; никто не произнес ни единого слова.

Поднялись все разом, как по команде...

3

В недостроенной мастерской придворного живописца Ивана Никитина пахло так же, как на первом государевом ботике: скипидаром и белилами; табачный дым слоился серо-голубыми дрожащими листьями — художник любил распыхать толстенную сигару из Америки, что привозили ему в дар вельможи во время сеансов, полагая (не без справедливости), что это подвигнет живописца сделать их лица еще более значительными, красивыми, исполненными мудрости.

Однажды, наблюдая за работою Никитина, когда тот дописывал портрет Елисафет, государь заметил:

— Ты с живства пиши, а не из ума, Иван. В уме у тебя мы все, видно, на одну харю.

— Хари разные, — ответил Никитин, — только каждый норовит придать одно и то же выражение.

— Какое?

— Большого умствования, но притом ангельской кротости.

— А Ягужинский?

— Тот — нет, — ответил Никитин. — Тот всегда на сиянс четверть привозит и целиком ее выхлестывает: пьющий человек — открытый, в нем лукавства нет.

Петр любил приезжать к живописцу. Он садился возле огромного, словно парижского, окна, подолгу наблюдал, как тот стоял возле картины, потом, отбежав к окну, начинал делать что-то пальцами перед глазом, будто кому жесты строил.

— Ты это зачем? — спросил Петр, когда Никитин, решив передохнуть, отложил кисти, устроился в кресле и, вытянувши короткие ноги, раскурил сигару.

— Препорцию проверяю, Петр Алексеевич. От нее весь расчет. Великие, как Рембрандт, зеркало для сего дела держали.

— Ну?!

— Именно так. В нем свое словно чужое видишь. Себе-то ведь ошибку простишь не токмо в живописи. Себе всё простишь. А в зеркале — как на торговых рядах: коли не привезли битых зайцев, так и не ищи, а лежит солонина — ею и довольствуйся. Говорят, наш Симон Ушаков для сего дела окно приспособил, отражение со своих парсун разглядывал, но зыбко это, стекло легкое слишком, будто сквозь чердачную паутину подглядываешь.

— Какого ж размеру тебе потребно зеркало?

— Чем больше, тем лучше, да ведь такая дорога штука, не по карману мне.

— Скажешь, что я тебе малое содержание положил после твоих итальяйский вакаций?

— Мало, государь. Краски приходится на свои деньги покупать, казна прижимает; мастерскую эту третий год строю, а, кроме как в этом зале, пол еще не настелен, сплю на холодном чердаке, на стружках; Ромку, младшего, в Москву отправил, там в Измайлове двор щедрей денег дает.

— Урежу дьяволам! Бездельничают, в потолок плюют, а портреты заказывают, хотят чумырла свои в покоях иметь...

— Урежешь — живописи не будет, а государство ценят по тому, что написано да нарисовано, да еще какая песня сложена...

— Ничего, тебе, говорят, светлейший за всех нас отваливает, только чтоб ты его дочерей херувимами рисовал...

— Платит хорошо, Бога гневить нельзя, да ведь и моя работа того стоит.

— Слушай, а где те парсуны, что у папеньки моего в Кремле висели?

— Это Вухтина и Вартора, что ль?

— Как же ты немецкие имена помнишь, Иван? — удивился Петр. — Нет, больше мне нравилось разглядывать картины поляков... Запомнил я их имена...

— Все вы так, цари: картину помните, а кто ее создал — не считаете нужным знать... Поляков, государь, звали Василий Познаньский и Киприан Умбрановский...

— А этот... горец? Армянин? Как его?

— Иван Султанов. Хорошего цвета мастер, очень ярко видел красное, бесстрашно клал краску, не то что мы ныне...

— Это — как? — не понял царь.

— Чем больше мастеров появляется, тем больше школ, а чем их боле, тем разностнее суждения, каждый норовит свое отстоять, передав себя ученикам. Помнишь, предку твоему из Парижа был прислан портрет Людовика Четырнадцатого? Знаешь, сколь он среди нашего брата родил споров?! "Отчего так много синего?!", "Да зачем такой густой черный?!", "Да откуда падает свет?!".

— Какая разница, откуда свет? — удивился Петр. — Важно, чтоб было похоже.

— Э, — махнул Никитин рукою. — Похожесть — дело наживное, коли есть у тебя от Бога дар. И вот как передать сказку?

— Какую сказку? — снова не понял Петр.

— Простую, — несколько даже рассерженно ответил Никитин. — Какие тебе мамки сказывали. И про медведя, что на дерево влез, и про Бабу-ягу — костяную ногу, и про ту красавицу деву, которая тебе всю жизнь грезилась, да так и не встретилась, и про пир, на котором ты никогда не бывал, а до смерти самой гредишь попасть. Чем больше художник не осуществил себя, чем в нем более сказки, тем он надежнее прилежен времени; в памяти людской останется... А вот Вартора я тоже хотел найти, — рука была у мастера отменная, да как в воду его полотна канули. Порядка нет в державе, Петр Алексеевич, нет порядка, и ждать его неоткуда.

— А от меня?

— На одном человеке порядок не станет, мочи на это нет.

— Испортился ты, Иван, разъезжая по басурманским Европам, — усмехнулся Петр. — Кнут по тебе сучает.

— Не задирай мастера, — в тон государю ответил Никитин, — а то таким тебя изображу, что внуки ахнут. В нас — память человеческая, нас холить надо.

— В холе разнежишься, мастеру надобно ощущать вечное неудобство, как ручью, что путь к реке ищет; поиск — та дорога, по которой можно жизнь пройти в радости и без страха смерть увидеть, потому как она мигом жажнет; ее тогда страшно, коли ждешь, медленно затаившись, и химерами всяческими стараешься избежать...

— Не зря Василь Васильич Голицын в своих хоромах держал твой портрет, писанный в отрочестве, наравне с парсунами князя Владимира и с Иваном Грозным, — хитер старик, чужой ум загода чувствовал...

— При чем тут ум? Просто-напросто боялся, оттого и держал. Софье служил, не мне. Думал портретами гнев отвести; политик загода себя обставляет, потому как ежели умен — более о поражении думает, чем о победе. Привел бы Соньку на трон, меня б похоронил, и следа б не осталось... Да и в уголку я у него висел, на самом невидном месте; у "царственного большия печати и государственных посольских дел оберегателя" нух лисий... На самом видном месте что он держал, не помнишь?

— Помню, как не помнить!

— А ведь за те немецкие листы, что он хвастливо на всеобщее обозрение представил, плачено было по пяти рублей за штуку; деньги — при его-то скардстве — большие. И королей вывесил басурманских, а ведь при людях плевался на Европу, жиловинью корил...

— Такое уж у него было иностранное дело, Петр Алексеевич, — ответил Никитин, пристально охватив чуть раскосыми глазами лицо царя. — А память у тебя как у художника... Страшная у тебя память: что раз увидал, того топором не вырубишь.

— Потому мы с тобою и любим стакан выпить поутру, Иван, — вздохнул Петр, — сие мысль, а она благодной бывает редко, в ней чаще всего грусть сокрыта али какой подвох, понятный одному тебе, старому и не всесильному... Уже...

— Ты истинную силу только сейчас и набрал, Петр Алексеевич...

— Истинная сила исчислима тем, каким ты просыпаешься поутру, Иван... Сколько звонности в тебе и радости: как птиц слышишь, хлопья снега, шум дождя... Сила — это когда постоянная в тебе игра, Ванюша, беззаботность, а потому — вера в удачу, ожидание счастья, чуда, новизны, нежности...

— Чего грустен сегодня, государь? Не по тебе это.

— По мне. Только раньше хватало сил скрывать, а теперь — устал. Ты прав, порядка в державе нет; а это душу терзает, лишь порядок дает спокойствие... Когда все вокруг трещит и сыплется, а ты — один; когда других понимаешь, а они тебя — нет, тогда вот...

— Что? — после долгой паузы спросил Никитин, так и не дождавшись последних слов Петра.

Тот махнул рукой, поднялся, погладил художника по голове, вышел.

...И вот сегодня, заехав от Фельтена в Адмиралтейство, Петр велел Суворову погрузить — только осторожно, палку получишь, коли кокнешь! — тонкую доску, завернутую в рогожину, и повелел вести себя к Никитину.

Возле моста сказал остановить коляску и долго смотрел на то, как чайки собачились над полыньями возле берега.

— Любишь этих птиц? — не повернув голову, спросил денщика.

— Белые, — ответил Суворов после недолгого раздумья.

— А попугай желтый! Коли я про Матрену спрашиваю, ты мне про Глашку не отвечай!

— Гневны вы, государь, оттого и отвечаю побоку.

— Плохая птица чайка, — убежденно сказал Петр. — Попусту мается, нет в ней работы во имя гнезда своего.

...В холодной, вот уж второй год недостроенной мастерской было сумрачно, хотя Никитин, как обычно, жег много свечей.

— Принимай подарок, — сказал Петр. — Говорил, что свое только в чужом правдиво предстает, со всеми ошибками, — держи венецианский шпигель на память.

Никитин зачарованно наблюдал, как Суворов разворачивал зеркало; поцеловал государеву руку; потом словно бы забыл о нем; зеркало перенес к креслу, начал его так и сяк вертеть, подвинул поближе портрет дочки светлейшего и — словно ударили его под дых — аж выдохнул:

— Гляди, Петр Алексеевич, гляди-ка! У ей левый глаз в стороне и словно бы плачет!

— А я в прошлый раз и без шпигеля заметил, — удивился Петр.

— Чего ж мне не сказал?

— Я полагал: такова мысль твоя — передать разность чувств, сиюмоментно пребывающую в человеке.

— Как ты сказал? "Разность чувств в человеке, сиюмоментно пребывающую"?

— Ну...

— Зачем же ты согласился своему Танауэру да парижанину Караваку позировать?! Разве могут они тебя понять? Ты ж в каждый момент разный;

у тебя речь рваная, а за словом — фраза сокрыта! Они ж глазыньки твои малюют для шику и на удивленье зрителям, — чудо что за глаза, красота! — а они у тебя круглые, птичьи; они ж дают подмастерьям латы рисовать или Александровскую ленту помуаристей, чтоб взгляд привлекало, им до твоей тоски дела нет!

— А ты зачем на них прешь, Иван? Мою тоску тот до конца поймет, кто наш с тобой язык от отца с матерью взял, всякую тонкость в полслове чует... Разве они повинны, что не

русскими родились? Разве плохо они мне служат?

— Служат — хорошо! Поклон им за то, что науку нам передали, только не давай ты более им себя писать! Не понимают они тебя! Я Людовика видел, — он рябой, с носа каплет, а ведь они его на картинах Аполлоном изображают, юношей беспорочным!

Петр усмехнулся:

— Думаешь, мне не нравится, когда меня таким малюют? Еще как нравится!

— Садись, вмиг напишу! — предложил Никитин. — Чего напраслину на себя несешь? Я про тебя, государь, всё знаю, потому как картины, с тебя писанные, изучил, будто псалтырь...

— Расскажи.

Никитин принес из кладовки бутылку французского вина, посмотрел на свет:

— Кровь. Здоровье в ней. Каждого шестого августа сотворяю молитву над виноградной лозой: "Благослови, Господи, плод сей новый, иже растворением воздушным, и каплями дождевыми и тишиною временною, в сей злейший час прийти благоволивый; да будет в нас от того рождения лозного причащающихся в веселие и приносить Тебе дар во очищение грехов, Священным и Святым Телом Христа; с ним же благословен еси со пресвятым, и благим и животворящим Духом Твоим, ныне и присно и во веки веков, аминь!"

Выпили; Петр закусил сыром.

— А знаешь, какова у меня самая любимая молитва? — спросил Петр задумчиво.

— Прочти.

— "Скорый в заступление и крепкий в помощь, предстани, благодатию силы Твоея ныне и, — благословив, укрепи, — и в совершении намерения благою дела рабов Твоих произведи; ибо всяк, кто хочет, как сильный Бог может творить!"

Никитин налил по стаканам остатки, заметив:

— Последние слова этой молитвы изменил ты: "...вся бо елико хочещи, яко сильный Бог творити можещи".

— Верно. Только что дает человеку силу: слово, которое он понял и почитает своим, либо же приказной текст, принужденный к зубрежке? Свое делает человека сильным, Иван, и ты это не хуже меня знаешь. И Танауэр, хоть меня красавцем малует, это понимает. Кому из мужиков есть дар делать новое — те только и понимают смысл слова "свое", не шкурное в нем видя, а, наоборот, то, что ко всеобщему благу оборачивается.

— Ей-богу, вот бы тебя написать таким, каков ты сейчас, — сказал Никитин.

— Пиши.

— В один сиянс не уложусь, подари хоть три...

— Завтра у меня важный день будет, — задумчиво сказал Петр. — Может, самый в жизни важный... Проведу задуманное — подарю тебе три дня, обещаю. А теперь рассказывай, что сулил.

— Сейчас... Где, кстати, та гравюра, что ты самолично травил в Голландии у Шхонебека?

— "Победа христиан над исламом?"

— Да.

— Подарил князю Дмитрию Голицыну.

Никитин покачал головой:

— А боишься ты его.

— Боюсь я, только тогда когда дети болеют, Иван. А вот опасаться — опасюсь: за ним бо-ольшое множество людей стоит, и все мои супротивники, все дремы ждут, в нашем ленивом неуправстве кого угодно винят, только не себя, и дела бегут.

— Зато Руси прилежны.

— Русь, коли в ней дело захиреет, станет вотчиной орды или провинцией австрийской короны, — отрубил Петр. — О Руси я более их скорблю. Когда я тебя к курфюрсту саксонскому Августу отправлял портрет его писать, намеренно ко всеобщему сведению опубликовал: "Пусть персону его спишут и с прочих, кого захочет, в особливо с виду, дабы

знали все в мире, что и у нашего народу добрые есть мастера". И ты его так нарисовал, что по тебе, как по истинно русскому, слух прокатился через все европейские столицы. А это славу отечеству принесло! Кто ж более о Руси радуется? Они — ленью, али я — делом?! Ну, говори, жду, интересно!

— Помнишь свой первый портрет?

— Да я ж раздариваю их все Преображенским полковникам али послам, откуда мне помнить?

— А я на портреты живу, каждому веду учет, оттого — все помню. Так вот, первый парсун, писанный с тебя, может, еще в отрочестве, хорош не ликом твоим, не мыслью в глазах, не волею в лице, а соболями, в которые ты облачен, да горностаями, да алмазной цепью! Красиво написано, да только сказки нет, а потому от правды далеко!

— Верно говоришь, но — против себя, Иван. Коли меня Танауэр не может понять, потому как саксонец, отчего же англичанин Готфрей Ноллер в Утрехте, в девяносто еще седьмом году, сделал портрет и нет в нем соболей; пустые латы да лента, а я самого себя понимаю? Отчего?

— Оттого, что делал он портрет с юноши Петра Михайлова, вроде бы царя, а может, и не царя Московии, которая темна, далека и обессилена раздорами. Ежели бы он сейчас тебя писал — не знаю, сколько бы звезд на тебя возложил, сколько брильянтов и смарагдов... А Танауэр тебя понять не может не оттого, что кровью чужой, а просто таланту в нем немного, хоть сердечностью и знанием богат. Я ж против Иоганна Купецкого голос не подымаю, я ж колена перед ним готов преклонить, но он-то к тебе не пошел, он вместо себя Танауэра послал, тот сразу согласился, — еще бы, дурень не согласится, когда ты жалованья положил в пятнадцать раз больше, чем мне, своему живописцу!

— Нет пророка в своем отечестве, — улыбнулся государь, вспомнив отчего-то тонкое лицо Купецкого, когда тот приехал к нему в Карлсбад писать "портрет с персоны".

В тот день Петр работал в кузнице Карела, что в Бжезове, — ему нравилась прогулка в ту маленькую деревушку; он поначалу молча наблюдал уметость мастеров, стоя у раскрытых дверей кузни, а потом, сбросив кафтан, вошел, попросился к горну, поддал огоньку и пошел баловать с молотом — на удивление Карелу и его подмастерьям. Туда, в Бжезов, и привезли придворного живописца; тот глазам своим не поверил: чумазый государь великой империи хохочет, говорит с мастером на варварском немецком (явно слышится чешский акцент, — братцы-славяне одним миром мазаны), в работе сноровист.

"Вот бы его так и написать, — подумал тогда венский мастер, — в кожаном фартуке, лицо закопченное, зубы что сахар, глаза — хоть со смешинкой, а грустные, — это и будет искусство".

Но он лишь усмехнулся этой своей дерзкой мысли, представив гнев гиганта, коли предложить ему такое, и холодную ярость своего венского венценосца.

Однако лицо Петра, особенно глаза, он понял именно в те минуты, что наблюдал за его работой, дивясь великолепной контрастности черного и ярко-желтого цветов, соединенных воедино громадной фигурой царя возле наковальни; похолодел от волнения, ибо понял внезапно, как надобно писать ночь, потому что искры, что взметались из-под молота, заключали в себе именно эту тайну: если звезды на ночном своде написать верно, то и самое небо станет истинным, вберет в себя звезды, подчинит себе их цвет или же, наоборот, подчинится им, сольется с ними; отсутствие гармонии — конец искусства, впрочем только ли искусства?

Лицо русского государя Купецкий написал за один сеанс, костюм позволил делать двум молодым своим ученикам, особенно преуспел в отработке драпировок Дэвид Гойер, ему и кисть в руки!

(Гравировщик Алексей Зубов, работавший затем этот портрет для заглавия "Марсовой книги", говорил Никитину, что венский художник воистину, от Бога, одарен: восхищался, как точно была понята им мысль, что тяжело и безответно билась в глазах Петра. Первый лист у Зубова выпросил за семь рублей брауншвейгский резидент Вебер, чтобы открыть ликом

государя свое "Собрание сочинений о России", а когда преподнес книгу в дар, Петр долго и удивленно разглядывал свое лицо, потом, вздохнув, заметил:

— И чего б ему меня в кузне не написать, дурню?! Эх ведь цвет точно угадал! Дымность и тьма, а в ней — огонь сокрыт, словно бы звездопад в ночи.)

...Никитин принес еще одну бутылку; долил государю и себе, спросил разрешения распыхать сигару, продолжил:

— От наших соболей, сиречь от близости, через ноллеровские латы к танауэрским фрегатам, что на втором плане выписаны, и гелдеровскому калмыку, который твою корону стережет — вот каков твой путь, Петр Алексеевич, в живописи, а она строгий судия, художник угадывает своими чувствованиями дальше иногда президента коллегии, правду видит страшно, без прикрас. Человек и государство сопряжены воедино, и чем выше человек стоит в державе, тем круче он прилежен царству, тем тягостней его крест, коли он не просто живет, абы жить в роскоши, но тревожно радеет о будущем, то бишь о памяти, которая по нем останется. Я твои портреты разглядываю и дивлюсь, сколько горя в тебе, прячешь ты его умело, а — глаза? Не со сплюсненными ж очами тебя писать! Ты приблизился к какому-то рубежу, государь, а преступить его страшишься, и не князя Дмитрия Михайловича со товарищи страшишься ты, а себя самого, ибо должен и для себя самого решение принять; отдать — хоть часть, — но своего, тебе одному принадлежащего, иначе тиною порастем: не под силу одному, даже сотне мудрецов страну перевернуть, коли остальные — без интереса, лишь окрика ждут от власти, а своего смысла страшатся...

— И ты к тому же...

— Те, кто тебе служит, — все к тому же...

После долгой, тяжелой паузы Петр спросил:

— Ну а девочки?

— Елисафет тебе преданна, ум в глазах бьется, а за Анечкой доктор Блументроост пушай зорче смотрит, хворь в ней сокрыта. Она, когда позирует мне, в окно смотрит, глаза отводит... Умна и остра, язык — что игла, начнет вдруг веселиться, а потом замрет и руку к сердцу прикладывает, как бы дышать ей тяжело.

— Блументроост сказал, что это с детства у ней, в зрелости пройдет.

— Дай-то Бог...

— Он твердо сказал — замужем пройдет, я верю ему.

Никитин повторил:

— Давай-то Господь...

— Ну а Екатерина Алексеевна? — тихо спросил Петр и кивнул на свой стакан.

Никитин налил до краев, выпил сам, ответил:

— Она — мать твоих детей, наследниц российского престола.

— Не хитри, Иван.

— Она — государыня мне, Петр Алексеич.

— Иван...

— Что ты хочешь от меня услышать? Правду? По глазам вижу — нет! А врать не стану.

— Вот ты и ответил мне. Или нет?

— Петр Алексеевич, я не царского роду, мужик, оттого в моих кровях ничего чужого нет, оттого я Русь по-особому понимаю и всю в себя беру. Никогда еще так трудно людишкам не было, как под тобою, но ведь на бунт не поднимаются! Смуты нету! Чего страшишься? Морщинами весь лоб изрезало, глаза запали, думаешь, верно, поймут ли? Поймут, ты только скажи открыто, что у тебя в сердце наболело...

Петр потер лицо своими большими сухими ладонями, зевнул, сказал лениво (всегда так говорил, когда злился, стыдился чего-то):

— Принеси-ка луку, соли и стакан водки, мне на свадьбу к поспеловскому Мишке пора, к господам опоздать не зазорно, а к слуге — не след...

...Сказав Суворову остановить коляску возле костра, где грелись рыбаки, Петр выскочил легко, по-юношески; улыбнулся этому, напряг плечи, ощутил силу мышц, заговорщически подмигнул кому-то незримому, но очень ему близкому; подошел к огню и сел на корягу, хрустко вытянув свои длинные, тонкие ноги.

Артельный, признав Петра сразу же, истово поклонился государю; помня о запрещении падать ниц, потянулся вывернутыми губами к мозолистой императорской руке, но, видать, успел заметить в глазах великана что-то такое, что — словно бы толчком — остановило его.

— Ухой лучше угостил бы, — сказал Петр, подивившись тому, что артельный понял его. — С какой рыбы варишь?

— Судачок, щука да толстопузый лещ.

— Пойдет, — сказал Петр. — И чарку поднесешь?

— Чарки нет, — ответил артельный. — Деньги нет брагу ставить.

— Это ты, выходит дело, жалишься мне на жизнь свою? — поинтересовался Петр.

— Да господи! — воскликнул артельный. — Да лучше, чем у нас, нет на земле жизни ни у одного народа! Спасибо, государь ты наш батюшка, за не-усыпну по нам заботу!

— Не пой, не кенар, — сказал Петр. — Я ж тебя лгать не неволю, чего изгаляешься? Думаешь, не знаю, как туго жить? Знаю. Цена каравая известна мне, у повара Фельтена сам за еду расплачиваюсь, со своего адмиральского заработка. А ну, дай ложку и поболее перцу, вы ж его бегите, как татя: басурманы, мол, вкушают, значит, нам нельзя, грех!..

— Так мы ж ноне против перцу толь на людях, — ответил артельный, — а харчимся им от души, противу цинги способствует, зубы крепко в десне стоят...

Петр оглядел лица рыбаков, столпившихся за артельным, покачал головою, повторил:

— "Толь на людях"... Да садитесь же... В ногах несть правды, мне налейте и сами хлебайте, я вам не в помеху.

Он по-прежнему внимательно вглядывался в рыбаков, в их широко открытые голубые, карие, зеленые глаза; ощущал вопрос, спрятанный в каждом из них; показалось ему, что у молоденького паренька, самого высокого ростом, на носу и лбу высыпало веснушками, да сам же себе и возразил: "Весны хочешь, стар делаешься, к теплу тянет, чтоб через январский перевал поскорее к новому лету скатывало. Не к весне у него веснушки, от природы небось конопат".

— Длинный, — обратился Петр к парню, — тебя как нарекли?

— Пашуткой!

— Павлом, а не Пашуткой! На голову длинней остальных, а кличешь себя блаженным именем! Указа моего не читал?

— Читал, — распрямился парень, — да только несогласный я с ним.

— А так! Нет моего согласия — и все тут! Как папенька меня от себя отличит, коль он Павел?!

— Отличить просто: Павел сын Павла. Красиво? Красиво!

— Пашуткой меня маманя родила, им и останусь! — не сдавался парень, хотя побледнел от волнения, вытянулся ломкой белой струною на синем, набрякшем тяжелой влагою снегу.

— А вот коли у тебя сын родится, ты его как наречешь? — спросил Петр. — Ну, скажем, на Петров день. Значит, Петрушкой, да? И будет он тогда Петрушка сын Пашутки! Ты мне этак империю в державу карликов превратишь! Ты не в том распрямляйся, что со мною, государем, смеешь спорить, а в том, чтоб не Пашуткой тебя в рыло тыкали, а Павлом рекли!

Артельный обернулся к парню:

— Чего споришь?

"Господи, бог ты мой, — горестно подумал Петр, — ну кто, когда и где придумал, что истинно русский тот только, кто евангельскому непротивлению прилежен, жив созерцанием,

а не делом, угодным, вишь ли ты, только царству западного антихриста?! Кто и когда эдакое сочинил, пустив в оборот? Не русский, только не русский! Тот, кто страшится русского замаха, русского дела, да и спора русского! Эк Пашутка побелел ликом, когда я его к его ж выгоде позвал; за папеньку оскорбился". Но ведь на спор-то встал! "Мы, русские, созерцатели мира", — передразнил он кого-то очень знакомого ему, но только б вроде через тряпку голос слышен, а лицо рукавом закрыто. — Это святой-то Владимир "смиранный мечтатель"? А кто руки на идолов поднял, прежнюю веру отринул и привел нас ко Христу? Тоже "мечтатель"?! А русские разбойники? Что это, как не спор против косных наших уложений! "Смиранный народ, барину своему преданный"?! А Вассиан Патрикеев? А Никон?! Для него старые порядки никакой цены не имели, ибо прогнили и заветшали из-за всеобщей лени! А почему лень? "Качество" русского? Как бы не так! Не давали русскому — после Новгорода — воли, по рукам и ногам повязали татарскою, привычною к оброкам, буквой, растлили душу холодом приказного отчета, а не радостью живого дела, вот оттого и родилась у моих людей лень: "Страна богата, как-нибудь проживу, чего вертеться, коли нет в этом моей человеческой корысти?!""

Петр принял из рук артельного ковш с ухю; ложка была расписана яркими синими цветами, таких он не видел; привык, что в Архангельске на стол клали красно-желтые или же темно-коричневые, гладкие, без рисунка.

Уху отменно приперчили; губы клеило; пахло морем.

— Благодарствую, — сказал Петр. — Вкусно поварено.

"Когда противники выделяют меня изо всех — они погибель мне готовят, — продолжал думать он неторопливо, ощущая тепло в ногах от близкого костра. — Я — звено в цепи, а не исключение, "оборотень-сатана". Я противу того же встаю, что и этим рыбакам житья не дает! Только ранее власть на Руси не смела новое громко заявлять. Иван растоптал Новгород, извел свободу дела; в смутную годину его прыть с опричной обернулась новой кровью... Одно зло порождает другое. Борис Годунов хотел реформу провести, да побоялся, татарской был крови, осторожничал шибко, на чужой взгляд оборачивался... А так нельзя в большой политике, тут надо круто и без страха... А батюшка мой чем не бунтарь был супротив ленной дремучести, когда и артистов пригласил, и Ордына-Нащокина приблизил, и Матвеева с его шотландцами, и первую газету решился издать?! Прав Феофан, на пустом месте пустое родится. Коли б не татарское нашествие, не скрылись бы наши песни, сказы и летописи из городских палат в потаенные монашьи кельи, не разбилась бы Русь на кулаки княжеств, не было б "рязанского", "архангельского", "московского", "курского" духа, — был бы дух единорусский; не было б тихой келейной малости страха и огляду, а было б так, как во Киеве, — просторно, широко, громко! Господи, за что ж на нас одних?! Сколько книг успели понаписать, в коих собраны одни лишь за-прещенья?! То — не читай, сие — не смей, то — чужое, сие — дурное! На все, что было до святого Владимира, — тавро! А почему? Кто сказал, что дома надобно было окнами во двор строить?! Кто определил, что коли рукава кафтана до полу, только тогда и есть истинно русский наряд?! Отчего икону можно было писать лишь так, как начали при Владимире? За что глаза художникам жгли, коли они по-своему рисовали?! А ведь те мастера в Божьи очи близко заглядывали, потому как им от него талант даден! Кто определил истинно русское и православное? "Четьи минеи"?! Домострой"? Так он хуже лондонского Тауэру, нет от него людям ни в чем свободы маневра! А как обо всем этом рассказывать рыбакам, господи?! Как объяснить им, что чужое — коли оно хорошее — лучше своего плохого и нет зазору в этом самим себе признаться! Воистину, кто стоит на месте, тот пятится вспять, ибо все вещи в труде, и реки текут, а моря не переполняются. "Фрола Скобеева" б издать, чтоб в каждый город дошло, во многие дома!

А где типографий взять? Сатиры б старые напечатать на наши кожемякины суды, на думных дьяков, на тьму! Ведь русские же писали, не голландцы! Тех и не пускали тогда к нам на порог, свое блюли".

— Какую песню любите петь? — спросил Петр артельного, который по-прежнему стоял подле, желая уследить государево желание.

— К радости или в грусти?
— А сейчас тебе каково?
— Сейчас — странно, — ответил артельный.
— Отчего?
— Государь — как учат нас — свят, то есть далек, а он, вишь ты, прост, оттого как близок.
— И — плохо это?
Артельный повторил убежденно:
— Странно.
Петр откинул голову, словно загривок болел к смене погоды, запел неожиданно тонко:

Коль дождусь я веселы вёдра,
Дней красных,
Коли явится милость с небес ясных!
Ни с каких сторон света не видно.
Ненастье,
Нету надежды, бедно, ох да бедно, мое счастье!

Артельный подхватил песню, повел низким, грудным голосом:

Нет, ох-хо, нет света, не ви-идно.
Ненастье!
Нет надежды!
Нету...
Бедно ты, наше счастье...

Петр тронул ботфортом пламя, спросил:
— Кто слова сложил, известно?
— Люди, — ответил Пашутка. — Они все наши боли на слова ложат, кто ж еще.
— Не люди, но человек! А имя ему Феофан Прокопович. Запомни сие, Павел сын Павла...

Поднявшись — как всегда резко, словно бы толкнули, — Петр вернулся к коляске, легко вспрыгнул на свое место, сказал Суворову:

— Едем к слуге Мишке — время.

Суворов тронул было коня, но государь остановил его, поманил артельного, спросил ласково:

— Ну, скажи мне, старый, коли дал бы я тебе право взять в казне али под ссуду денег и дело начать, а с дела мне откуп платить, много б тебе стало легче жить?

— Этого нельзя, — убежденно ответил артельный.

— Отчего?

— От веку. Я ж не барин, а по приказу живу.

— Ну и коли все ж позволю?

Артельный улыбнулся кроткой, застенчивой улыбкой и ответил тихо:

— Да разве поверят, государь? Решат — шутишь.

— У тебя к чему лежит сердце? К тому, чтоб приказали тебе? Или чтоб сам свое дело ставил?

Артельный ответил:

— Ты хоть молодых не тревожь, государь! Они ж твое слово передадут другим, а их за это — на дыбу!

— Я это мое слово печатно изложу и повелю его с барабанным боем читать по площадям, — тихо, словно бы себе самому, ответил Петр и явственно увидел амстердамскую площадь, веселый, шумный рынок, чокелатные кавейни, пивные заведения, горожан в

красивых нарядах и веселое торжище, где радостной игры было куда как более, чем шейлоковой битвы за гульден или ефимок; а за этим шумным многоцветьем вдруг увиделось лицо художника Гельдера, когда тот кончил последний сеанс и долго рассказывал про то, как умирал его учитель Рембрандт, ходивший по рядам в вонючем рубище, ожидая подаяния рыбаков после того, как кончался торг.

...Рембрандт виделся Петру отчего-то бритым наголо, с трясущейся левой рукой.

И всю жизнь с той поры мечтал Петр о том, кто был бы ему как отец, — пусть старый и бессильный, но все одно не страшно жить, коли можно ткнуться ему головою в мягкий живот и замереть, преклонив колена, ожидая того сладостного мига, когда рука его ляжет на голову и снимет страдания, примет в себя, исцелит и даст силу выстоять...

* * *

Февраль 1725 года

Сир! События прошедшей недели столь драматичны, что эмоции могут лишь повредить беспристрастному исследованию того, что свершилось, и — соответственно — того, что, возможно, свершится.

Итак, девятого января я видел своими глазами, как государь император, легко выпрыгнувши из своей повозки, бросил вожжи денщику и — одновременно — городскому полицмейстеру Антону Мануиловичу Давиеру, а засим в сопровождении адъютанта Александра Ивановича Румянцева и Франца (а ноне Никиты) Петровича Вильбоа, а также неотлучного при нем Суворова направился к домишку давнего слуги, любимого его денщика Василия Пospelова, прозываемого Мишкой, который гулял свадьбу с гундошницей Настасьей. (Поскольку в придворных кругах несколько раз произносилось слово "гундошница", я постарался выяснить, что это доподлинно означает. Как всегда в России, однозначного ответа получить не удалось.

Можно считать, что "гундошница" — это "повариха", а можно перевести и как "говорливая развлекалка барыни".)

Помимо денщика и адъютанта встретить государя также был удостоен чести и сам слуга Мишка со своей невестой Настасьей; Мишку царь ласково потрепал по шее, а Настасье дал подарок; какой, сказать не могу, ибо подарок завернут был в материал, — судя по всему, шелковый, белого цвету.

Не дождавшись — как это было принято ранее — прибытия экипажа Ея Императорского Величества, которую в последнее время сопровождает конный эскорт, государь соизволил войти в домишко денщикова слуги Михайлы, дав тем повод к началу праздника, который длился чуть не всю ночь, а на завтра — сказывают мне доверенные люди — государь пожаловал (без августейшей супруги) на рядины и крестины женившихся, был весел, пил много, но других, однако, неволил, что свидетельствует о добром Петра расположении.

Последующие шесть дней прошли в Санкт-Петербурге спокойно, в работе. Мне стало известно, что государь дважды приняв командора Беринга, вместе с ним рассматривал карты окраин Татаро-Сибири, что возле Америки; несколько раз встречался с учеными, приписанными к Навигацкой школе и Кунсткамере, а также с известным здесь профессором математики Леонтием Магницким; неоднократно заезжал в Кунсткамеру, беседовал с тамошней профессурой о необходимости привлечения к делу прусских и вюртембергских ученых-естествоиспытателей; посетил Навигацкую школу. Объявлен был официальный указ о предстоящей поездке государя в Ригу; в столице готовились к церемонии проводов, которые должны были состояться при выезде из города, как внезапно пронесся тревожный слух — Петр в постели, болен; шестнадцатого января, сказывают, стало совсем ему худо, однако на завтра полегчало, о чем стало мне известно от знакомых доктора Блументрооста, который не только итальянского профессора Аццарити пригласил во дворец на консилиум, но и выписал из Москвы для той же цели лекаря Бидлоо.

Однако же, несмотря на то что государю стало легче, во дворец — сразу же по началу хвори — кем-то был вызван опальный Менишков, который более уж оттуда не выезжал, хотя двадцатого генваря профессор Аццарити дал понять посланнику Кампредону, что царь здоров и, видимо, вскорости вернется к своим каждодневным делам.

К двадцать второму генваря у государя прошла лихорадка.

Аццарити сообщил посланнику Де Бите, что опасность миновала полностью, но, несмотря на это, приближенные отчего-то устроили императору обряд причащения. Быть может, именно сей акт, который вполне безразличен смертельно больному, но весьма страшен здоровому (или выздоравливающему), как говорили, внес резкое изменение в настроение императора. Никому не известно, что случилось после обряда причащения Святых Тайн, но на следующий день государя — внезапно для всех — оперировали, извлекиши, как говорят, два фунта урины. (Именно в этот день из дворца внезапно донеслись протяжные, страшные вопли, но лишь краткое время; засим наступила гробовая тишина.)

По мнению лечащих врачей, во всяком случае большей части, такого рода операция совершенно не была необходимой.

...Полутру от имени государя было велено отпустить из острогов империи пять сотен каторжан; а затем было приказано молиться во всех церквях о скорейшем и полном выздоровлении монарха.

(Мне рассказывали, что в пору смертельной болезни Петра, когда он был еще молод, духовник предложил ему отпустить из острога десять воров. Царь отказал: "Спокойствие державы для меня превыше своего живота; что суждено, тому и быть".)

В тот же день, сказывают. Петр решил написать новое завещание, ибо написанное им после коронования Екатерины было будто бы в ноябре предано — по обстоятельствам неизвестным — огню и тлену. Наследование престола, по всем законам, особливо после того, как прошлым летом Петр торжественно короновал в Москве свою супругу российской императрицей, — должно конечно же перейти Екатерине, хотя при дворе существует весьма влиятельная, хотя и тайная, партия, уповающая на то, что — в случае нежданного горя — трон России перейдет внуку государя, Петру, сыну казненного царевича Алексея.

Возможен, впрочем, и третий исход (на нем якобы настаивали самые близкие Петру вельможи) — передача трона любимой дочери государя принцессе Елисафет.

Так или иначе, двадцать шестого генваря государь затребовал перо и бумагу, дабы составить новое завещание, однако перед тем решил подкрепиться, ибо, сказывают, аппетита во все время течения болезни не терял. Как передают, ему подали грешневую кашу, варенную поначалу в воде, а потом смешанную с гусиным салом, отварную осетрину — целую рыбину, но не более трех фунтов (враги ограничивали государя в еде), — но после принятия пищи у него, неожиданно для всех, начался припадок конвульсий; засим он лишился сознания. Открывши глаза лишь через два с лишним часа, Петр не мог произнести ни слова — он потерял дар речи.

Он делал левою рукою (правая отнялась) какие-то жесты, словно звал к себе кого, пытаясь сказать нечто.

Потом — как передали враги — началось заражение крови.

Дворец был окружен стражей, от постели страдальца, как сказывают, ни на минуту не отходил генерал-прокурор, постоянный адъютант Его Императорского Величества Павел Иванович Ягужинский. Где в это время находился сиятельный князь Менишков, вызванный во дворец, неизвестно. Все связи с внутренними покоями императора были надежно прерваны.

Полутру, двадцать восьмого генваря, наступила смерть.

...Далее события развивались таким образом, что определенно утверждать достоверность той или иной версии — пока что, во всяком случае — трудно. Посланник Кампредон настаивает, что вопрос о восшествии на престол России государыни Екатерины Первой, урожденной чухонской крестьянки, был решен в момент смерти

Петра: что, лишь когда страдалец испустил последний вздох, новая императрица явилась перед вельможами и отдала свою судьбу в их руки.

Прусский же посланник Мардефельд настаивает на том, что все было решено еще задолго до смерти самодержца.

Однако же не следует считать, что восшествие на престол Екатерины обошлось спокойно и без столь политике знакомых катаклизмов.

Сказывают, что во время большого совета вельмож русский канцлер граф Головкин поднялся первым, когда кем-то (кем — неизвестно до сих пор) было предложено поочередно высказаться по поводу будущего империи. Глядя в глаза Екатерине, граф сказал, что поскольку Петр не оставил посмертного завещания, то вопрос престолонаследия должен решать — как и было исстари заведено — народ российский. Его якобы поддержали князь Голицын и брат адмирала Апраксина. Вопрос о судьбе престолонаследия грозил перерасти в столкновение могучих группировок. Запахло грозой, могла случиться новая смута, как вдруг встал сиятельный князь Менишков, а вместе с ним граф Бутурлин, и поначалу сиятельный князь, а позже известный военачальник произнесли столь весомые слова и бесспорные доказательства своей правоты и силы, что брат генерала Апраксина упал без чувств, стукнувшись виском об пол, и к нему, бездыханному, был вызван лекарь.

Сразу же после этого генерал Бутурлин и майоры Преображенского полка Юсупов и Ушаков ринулись с отрядом преображенцев в Сенат, который собрался, ожидая известий, не зная толком, что происходит во дворце. Там, восшедши на праздничное место, эти вельможи Петра объявили себя сенаторами в присутствии солдат-преображенцев, коих с собою ввели в зал; солдаты были во всеоружии.

Лишь после этого сенаторы ударили челом новой государыне, приняли приветственное письмо ей и ее детям, а Бутурлин сделался в тот же день полковником Преображенского полка, что есть высший воинский чин в России, ибо преображенцы были созданы Петром как его личная гвардия.

Назавтра тело государя (не подвергнутое вскрытию), припудренное, одетое в парчу и шелка, чего он так бежал при жизни, было выставлено для прощания; государыня всея Руси, сиятельный князь Менишков, генерал Репнин, князь Голицын, граф Бутурлин, все — друзья ее и противники — стояли вместе, плечом к плесу, и лица их были в слезах. Не было только среди ближайших сподвижников умершего государя брата адмирала Апраксина — так и не смог прийти в себя от страха, сделался удар.

Посланник Кампредон, ссылаясь на мнение людей, близких ко двору, сказал, что лечение императора велось из рук вон плохо, ибо никто из лекарей не мог и предположить столь трагичного исхода пустячной болезни.

Сейчас стали распространяться в народе слухи, что, мол, император застудился в то время, когда вытаскивал тонущих солдат из залива близ Лахты. Однако об этом случае, якобы имевшем место быть в декабре, никто не знал и по сей день не знает в Санкт-Петербурге.

Передают, что задним числом составляется течение хворобы покойного императора, тогда как саксонский посланник Ле Форт настаивает, что дело не в простуде, а, по его сведениям, в камне, повредившем мочевой пузырь; Кампредон же считает, что болезнь государя была следствием его необузданных юношеских увлечений; посол Горн полагает причиною смерти наличие в мочевом пузыре едкой материи, в то время как прусский дипломат Мардефельд уклончиво называет болезнь Петра "страданием".

Видимо, ответ на вопрос, отчего погиб Петр (а этот вопрос не прост, ибо в нем сокрыта страшная тайна; "кому была выгодна смерть императора"), дадут архивы, когда наступит день и гас открывать их ко всеобщему сведению.

Остаюсь, сир, Вашего Величества покорнейшим слугою.

Виктор де Лю

...Архивы императора Петра хранились неразобранными в подвале дворца в течение полувека.

Их открыла лишь императрица Екатерина Вторая, когда большая часть папок (включая копию истории болезни государя) сгнила безвозвратно, превратившись в тлен, тайну.

...Екатерина Первая, вдова государя, внезапно умерла — сорокатрехлетней — через два года после трагической смерти ее великого мужа; в результате дворцовых интриг на престол пришел Петр Второй, сын казненного Алексея, помолвленный с дочерью сиятельного князя, "мин херца", выученика и "верного слуги" императора. Внезапно погибла — юной совсем — любимица Петра, принцесса Анна. Возобладала боярская партия консерваторов Долгоруких; князя Меншикова, отца новой российской государыни, отправили в ссылку; столица была перенесена в Москву; сподвижников Петра подвергли опале; вскорости от загадочной болезни скончался новый государь, мальчик еще; ночь опустилась над Россией, ночь и смута.

ВМЕСТО ЭПИЛОГА

Два документа появились на Западе (да и в России имели хождение среди старобоярской оппозиции) после смерти Петра.

В первом назойливо подчеркивалось, что Петр умер от "дурной почечной болезни".

Второй документ был прямо-таки "государственным" подарком для противников России: речь идет о "завещании" Петра, в коем тот повелевал завоевать Запад, сделать Россию хозяином Европы и превратить ее в центр новой империи, подвластной религии православия.

Весной 1982 года мне удалось прочитать в Ленинграде историю болезни Петра Алексеевича, собственноручно написанную доктором Блументроостом в 1716 году, накануне выезда государя на воды в Карлсбад.

Никаких показаний на "дурную почечную болезнь" в этом десятистраничном итоговом документе нет и в помине. Петр ехал лечить желудок, функция которого временами (чаще всего летом) нарушалась, — началось это после Азовских походов, в жаре; видимо, амебная дизентерия, болезнь, которая даже в те годы считалась не только не смертельной, а не очень-то опасной, врачевали ее легко, приступы снимали в день, от силы три.

Значит, *версия* необратимой да при этом еще и "дурной почечной болезни" была угодна кому-то.

Кому?

...Петр не успел написать завещания (или ему не позволили это сделать).

Кому же было выгодно представить великого преобразователя в глазах Европы захватчиком и коварным агрессором?

Где самый текст этого "завещания"?

Где и при каких условиях пущен в обращение?

Эти вопросы открыты и ждут своего исследователя.

А то, что со смертью Петра в России началась дестабилизация, выгодная биржам Лондона и Амстердама в такой же мере, как причалам Гамбурга и владыкам Поднебесной, сомневаться не приходится, и дестабильность эта длилась по ту пору, пока гвардия, спустя пятнадцать лет после трагедии, случившейся в январе 1725 года, не привела на трон дочь Петра, тридцатилетнюю Елисавету, вместе с которой на российском небосклоне взошли новые звезды — Ломоносов, Тредиаковский, Кантемир, Сумароков, Рокотов, Сковорода, Воронцовы, Шуваловы и Бестужевы-Рюмины.

Посеянное гением прорастает сквозь годы: мысль — неистребима; движение вспять есть предательство того, что в конечном счете и определяет жизнь, — устремленность движения к разуму, то есть к добру.

1982 год, Бакуриани